



Иван Иванович Лажечников

Ледяной дом

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=172991

Ледяной дом: Эксмо; М.; 2006

ISBN 978-5-699-15450-0

Аннотация

И.И. Лажечников (1792–1869) – один из лучших наших исторических романистов. А.С. Пушкин так сказал о романе «Ледяной дом»: «...поэзия останется всегда поэзией, и многие страницы вашего романа будут жить, доколе не забудется русский язык». Обаяние Лажечникова – в его личном переживании истории и в удивительной точности, с которой писатель воссоздает атмосферу исследуемых эпох. Увлечательность повествования принесла ему славу «отечественного Вальтера Скотта» у современников.

Содержание

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ	4
Глава I	4
Глава II	12
Глава III	18
Глава IV	23
Глава V	28
Глава VI	35
Глава VII	39
Глава VIII	47
Конец ознакомительного фрагмента.	51

ИВАН ЛАЖЕЧНИКОВ

ЛЕДЯНОЙ ДОМ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Глава I СМОТР

*Какая смесь одежд и лиц,
Племен, наречий, состояний!*

Пушкин

*Поник задумчивой главой.
Пора весны его с любовью, тоской
Промчалась перед ним. Красавиц
томны очи,
И песни, и пиры, и пламенные
ночи,
Все вместе ожило; и сердце
понеслось
Далече...*

Он же

Боже мой! Что за шум, что за веселье на дворе у кабинет-министра и обер-егермейстера Волынского? Бывало, при блаженной памяти Петре Великом не сделали бы такого вопроса, потому что веселье не считалось диковинкой. Грозен был царь только для порока, да и то зла долго не помнил. Тогда при дворе и в народе тешились без оглядки. А ныне, хоть мы только и в четвертом дне Святков (заметьте, 1739 года), ныне весь Петербург молчит тишиною келий, где осужденный на затворничество читает и молитвы свои шепотом. После того как не спросить, что за разгулье в одном доме Волынского?

Только что умолкли языки в колоколах, возвестившие конец обедни, все богомольцы, поодиночке, много по двое, идут домой, молча, поникнув головою. Разговаривать на улицах не смеют: сейчас налетит подслушник, переведет беседу по-своему, прибавит, убавит, и, того гляди, собеседники отправляются в полицию, оттуда и подальше, соболей ловить или в школу заплечного мастера. Вот, сказали мы, идет народ домой из церквей, грустный, скучный, как с похорон; а в одном углу Петербурга тешатся себе нараспашку и шумят до того, что в ушах трещит. Вскипает и переливается пестрая толпа на дворе. Каких одежд и наречий тут нет? Конечно, все народы, обитающие в России, прислали сюда по чете своих представителей. Чу! да вот и белорусец усердно надувает волынку, жид смычком разогревает цимбалы, казак пощипывает кобзу; вот и пляшут и поют, несмотря что мороз захватывает дыхание и костенит пальцы. Ужасный медведь, ходя на привязи кругом столба и роя снег от досады, ревом своим вторит музыкантам. Настоящий шабаш сатаны!

Православные, идущие мимо этой бесовской потехи, плюньте и перекреститесь! Но мы, грешные, войдем на двор к Волынскому, продеремся сквозь толпу и узнаем в самом доме причину такого разгульного смещения языков.

— Мордвы! чухонцы! татары! камчадалы! и так далее... — выкликает из толпы по чете представителей народных великий, превеликий или, лучше сказать, превысокий кто-то. Этот

кто-то, которого за рост можно бы показывать на Масленице в балагане, – гайдук его превосходителства. Он поместился в сенях, танцую невольно под щипок мороза и частенько надувая себе в пальцы песню проклятия всем барским затеям. Голос великана подобен звуку морской трубы; на зов его с трепетом является по порядку требуемая чета. Долой с нее овчинные тулупы, и национальность показывается во всей красоте своей. Тут, не слишком учтиво, оттирает он сукном рукава своего иному или иной побелевшую от мороза щеку или нос и, отряхнув каждого, сдает двум скороходам. Эти ожидают своих жертв на первой ступени лестницы, приставив серебряные булавы свои к каменным, узорочным перилам. Легкие, как Меркурии, они подхватывают чету и с нею то мчатся вверх по лестнице, так что едва можно успеть за красивым панашом, веющим на их голове, и за лоснящимся отливом их шелковых чулок, то пинками указывают дорогу неуклюжим восприемышам своим. Говоря о скороходах, не могу не вспомнить слов моей няньки, которая некогда, при рассказе о золотой старине, изъявляла сожаление, что мода на бегунов-людей заменилась модою на рысаков и иноходцев. «Подлинно чудо были эти скороходы, – говорила старушка, – не знали одышки, оттого-де, что легкие у них вытравлены были зелиями. А одежда, одежда, мое дитятко, вся, как жар, горела; на голове шапочка, золотом шитая, словно с крыльями; в руке волшебная тросточка с серебряным набалдашником: махнет ею раз, другой, и версты не бывало!» Но я с старушкою заговорился. Возвратимся в верхние сени Волынского. Здесь *маршалок*¹ рассматривает чету, как близорукий мелкую печать, оправляет ее, двумя пальцами легонько снимает с нее пушок, снежинку, одним словом все, что лишнее в барских палатах, и, наконец, провозглашает ставленников из разных народов. Дверь настежь, и возглас его повторяется в передней. Боже мой! опять смотр. Да будет ли конец? Сейчас. Вот кастелян и кастелянша, оглядев набело пару и объяснив ей словами и движениями, что она должна делать, ведет ее в ближнюю комнату. Фаланга слуг, напудренная, в ливрейных кафтанах, в шелковых полосатых чулках, в башмаках с огромными пряжками, дает ей место. И вот бедная чета, волшебным жезлом могучей прихоти перенесенная из глуши России от богов и семейства своего, из хаты или юрты, в Петербург, в круг полутора ста пар, из которых нет одной, совершенно похожей на другую одежду и едва ли языком; перенесенная в новый мир через разные роды мытарств, не зная, для чего все это делается, засученная, обезумленная, является, наконец, в зале вельможи перед суд его.

Пара входит на лестницу, другая пара опускается, и в этом беспрестанном приливе и отливе редкая волна, встав упрямо на дыбы, противится на миг силе ветра, ее стремящей; в этом стаде, которое гонит бич прихоти, редко кто обнаруживает в себе человека.

Было б чему и нашим современникам подивиться в зале вельможи! Глубокие окна, наподобие камер-обскуры, обделанные затейливыми барельефами разных цветов, колонны по стенам, увитые виноградными кистями, огромные печи из пестрых изразцов, с китайскою живописью и столбиками, с вазами, с фарфоровыми пастушками, похожими на маркизов, и маркизами, похожими на пастушков, с китайскими куклами, узорочные выводы штукатуркою на потолке и посреди его огромные стеклянные люстры, в которых грань разыгрывается необыкновенным блеском: на все это и нам можно бы полюбоваться. Бедные дикари не знают, где стать, чтобы не ступить на собственную фигуру, отражающуюся в наложенном штучном полу. Смешно видеть, как и наши простодушные предки, входя в залу вельможи, принимают картины в золотых рамах за иконы и творят пред ними набожно крестные знамения.

Посреди залы, в богатых креслах, сидит статный мужчина, привлекательной наружности, в шелковом светло-фиолетовом кафтане французского покроя. Это хозяин дома, Артемий Петрович Волынской. Он слывет при дворе и в народе одним из красивейших мужчин.

¹ Дворецкий. (Примеч. автора.)

По наружности можно дать ему лет тридцать с небольшим, хотя он гораздо старше. Огонь черных глаз его имеет такую силу, что тот, на ком он их останавливает, невольно потупляет свои. Даже замужние, бойкие женщины приходят от них в смущение; пригожим девицам мамки, отпуская их с крестным знамением на куртаги,² строго наказывают беречься пуще огня глаза Волынского, от которого, говорят они, погибла не одна их сестра.

Из-за высокой спинки кресел видна черная, лоснящаяся голова, обвитая белоснежною чалмою, как будто для того, чтобы придать еще более достоинства ее редкой черноте. Можно бы почесть ее за голову куклы, так она неподвижна, если бы в физиономии араба не выливалась душа возвышенно-добрая и глаза не блистали то негодованием, то жалостью при виде страданий или неволи ближнего.

В нескольких шагах от Волынского, по правую его сторону, сидит за письменным столом человек, которого всего можно бы спрятать в медвежью муфту. Лицо его в кулак стянуто, как у старой обезьяны; на нем видно и лукавство этого рода животных. Он ужимист в своих движениях, уступчив или увертлив в речах, глаза и уши его всегда на страже. Ни одна исправная гауптвахта не успевает так скоро отдавать честь, как он готов на все ответы. Эта маленькая каракулька, ученая, мудреная и уродливая, как гиероглиф, – секретарь кабинет-министра, Зуда. Он записывает имена и прозвания лиц, являющихся на смотр, замечания, долетающие к нему с высоты кресел, и собственные свои. Чего Волынской не договаривает, то он дополняет.

В отдалении, почти у двери передней, стоит молодой человек. По одежде он не солдат, не офицер, хотя и в мундире; наружность его, пошлую, оклейменную с ног до головы штемпелями низайшего раба, вы не согласились бы взять за все богатства мира. Чего в ней нет? И глупость, и разврат, и низость. Один свинцовый нос – достаточный изъяснитель подвигов, совершенных его обладателем, и указатель пути, по коему он идет. Это Ферапонт Подачкин, вольноотпущенный Волынского и в должности пристава. Ему-то поручено было доставить в Петербург из Твери сто разноплеменных пар, собранных там с разных мест России, – доставить живьем и незапятнанных морозом. По какой же *протекции* получил он столь важный *пост*? Мать его – *барская барыня* в доме кабинет-министра. Она спала и видела, чтобы произвести своего сынка в офицеры, то есть в такие люди, которые могут иметь *своих* людей: высшая степень честолубия подобного класса и образования женщин! Волынской, хотя человек умный и благородный, имел слабость не отказать в просьбе Подачкиной, помня старые заслуги мужа ее, бывшего его дядьки: за исправное, честное и усердное исполнение порученного Ферапонту дела обещан ему первый офицерский чин. А там, кто ведает, на какую высоту полез бы он, открыв себе ключом четырнадцатого класса врата в капище почестей! Надо заметить, что в тогдашнее время не нуждались в аттестате на чин коллежского асессора, – о, ох! этот уже аттестат! И вот Ферапонт, по батюшке Авксентиевич, близок уже к своей цели. Еще один шаг, одно барское спасибо – и новое ваше благородие в России. Участь его должна решиться на сегодняшнем смотре: или дворянское достоинство, или палки на спину. Он теперь необыкновенно низко повесил голову – признак, что дух его вострожен и он ожидает невзгоды за какую-либо неудачу или промах.

Сравните белое лицо кандидата в благородия и черное лицо невольника: кажется, они поменялись своими назначениями. Где ж маменька ужасного честолубца? – Видите ли направо, у дверей буфета, эту пиковую даму, эту мумию, повязанную темно-коричневым платочком, в кофте и исподнице такого же цвета? Она неподвижна своим туловищем, вытянутым, как жердь, хотя голова ее трясется, вероятно от употребления в давнопрошедшие времена сильного притирания; морщиноватые кисти рук ее, убежавшие на четверть от рукавов, сложены крестообразно, как у покойника; веками она беспрестанно хлопает и мигает, и

² Приемные дни во дворце (нем.).

если их останавливает, то для того, чтобы взглянуть на свое создание, на свое сокровище, на свою славу. Прошу хорошенько заметить: это она, дражайшая родительница драгоценного дитяти.

Мы сказали уже, что Подачкина (по имени и отчеству Акулина Саввишна) – *барская барыня*. Это звание в старину было весьма важное: в него избирались обыкновенно жены заслуженного камердинера, дворецкого, дядьки и тому подобной почетной дворни. Она присутствовала при туалете госпожи своей, заведовала ее гардеробом, служила ей домашними газетами, нередко докладчицею по тайным делам мужниной половины, и играла во дворе *своем* посредническую роль между властителями и слугами. Заметьте, она – *барыня*, но только *барская*... Придумать это звание могла лишь феодальная спесь наших вельмож тогдашнего времени. Впоследствии и мелкие дворяне завели у себя такое должностное лицо. Еще и ныне в степной глуши звучит иногда имя барской барыни, но потеряло уже свое сильное значение.

Ни одного шута, ни одной дуры и дурочки в зале! Уж по этому можно судить, что Волынской, смело пренебрегая обычаями своего времени, опередил его.

– Как думаешь, Зуда? – сказал кабинет-министр, обращаясь с приметным удовольствием к секретарю своему. – Славный и смешной праздник дадим мы государыне!

– Об нем только и говорят в Петербурге, – отвечал секретарь, привстав немного со стула. – Думаю, что он долгое время занимать будет стоустую молву и захватит себе несколько страниц в истории.

Кабинет-министр дал знак головою, чтобы секретарь сел, и продолжал усмехаясь:

– Разве наш господин Тредьяковский удостоит сохранить его в своих виршах...

– О которых все столько кричат.

– Потому что их никто не понимает.

– Известно, однако ж, что ваше превосходительство с некоторого времени сделались самыми ревностными поклонниками нашего Феба и очень частенько изволите черпать в тайнике его.

– Ты хочешь сказать, с того времени, как милая молдаванская княжна стала учиться русскому языку. Да, бывший надутый школьник Тредьяковский, ныне Василий Кириллович, в глазах моих великий, неоцененный человек; я осыпал бы его золотом: не он ли выучил Мариорицу первому слову, которое она сказала по-русски?.. И если бы ты знал, какое слово!.. В нем заключается красноречие всех твоих Демосфенов и Цицеронов, вся поэзия избранной братьи по Аполлону. Василия Кирилловича за него непременно в профессора элоквенции!³ Я ему это обещал и настою в своем слове.

Волынской говорил с особенным жаром; только слова: *молдаванская княжна, Мариорица*, старался он произнести так тихо, что, казалось ему, слышал их только секретарь. Этот, заметив, что лицо барской барыни, может быть поймавшей на лету несколько двусмысленных слов, подернуло кошачьею радостью, старался обратить разговор на другое.

– Слышно, что господин Тредьяковский, – сказал он, – действительно собирается описать подробно, в нескольких томах, праздник, который вам поручено устроить.

– Потянемся и мы с тобою, любезный, к потомству в веренице скоморохов. Завидная слава!.. Расхохочутся же наши внуки, а может быть, и пожмут плечами, читая в высокопарном слоге, что кабинет-министр занимался шутовским праздником с таким же вниманием и страхом, как бы дело шло об устройстве государства.

– Разве, утешая этим больную владычицу севера, которая столько жалуется на вас, вы не творите полезного...

³ Красноречия (лат.).

– Для одного курляндца... Посмотри, он еще затеет какие-нибудь торжества, игрища, все под видом неограниченной преданности к государыне; но для того только, чтобы меня занять и между действиями сыграть ловчее свои штуки...

Барская барыня сделала опять легкую гримасу; сын ее вытянул шею и силился что-то настигнуть в словах Волынского, но, за недостатком дара божьего, остался при своем недоумении, как глупый щенок хочет поймать на лету проворную муху, но щелкает только зубами. Зуда спешил наклониться к своему начальнику и шепнул ему:

– Осмотритесь! вы забыли уроки Махиавеля...

Последнее слово, казалось, было условным паролем между кабинет-министром и секретарем. Первый замолчал; другой свел свои замечания на приходящих, которых разнообразие одежд, лиц и наречий имело такую занимательность, что действительно могло оковать всякое прихотливое внимание.

Вот статная, красивая девушка из Торжка, с жемчужным *венцом*, наподобие отсеченной сахарной головы; он слегка прикрыт платком из тончайшей кисеи, которого концы, подвязав шею, прячутся на груди. На лоб опускаются, как три виноградные кисти, *рязки* из крупного жемчуга, переливающего свою млечно-розовую белизну по каштановым волосам, слегка обрисованным; искусно заплетенная коса, роскошь русской девы,⁴ с блестящим бантом и лентою из золотой бити, едва не касается до земли. Ловко накинула девушка на плеча свой парчовой полушубок, от которого левый рукав, по туместной моде, висит небрежно; из-под него выказывается круглое зеркальце, неотъемлемая принадлежность *новоторжской* красоты. Богатая *фerezь* ее, как жар, горит. Легко ступает она в цветных сафьянных черевичках, шитых золотом. Рядом с нею ее чичисбей – вы смеетесь? Да, таки чичисбей:⁵ горе тамошней девушке, если она его не имеет! Это знак, что она очень дурна: мать сгонит ее с белого света, подруги засмеют. Раз избранный, он неотлучен от нее на вечерних и ночных прогулках. Какой молодец! Удадьство кипит в его глазах: зато он и слывет первым кулачным бойцом на поголовном новоторжском побоище. За ними – дородная мордовка в рубашке, испещренной по плечам, рукавам и подолу красною шерстью, как будто она исписана кровью; грудь ее отягчена серебряными монетами разной величины в несколько рядов; в ушах ее по шару из лебединого пуху, а под ним бренчат монеты, как бляхи на узде лошадиной. Вот человеческий лик, намалеванный белилами и румянами, с насурменными дугою бровями, под огромным кокошником в виде лопаты, вышитым жемчугом, изумрудами и яхонтами. Этот лик носит сорокаведерная бочка в штофном, с золотыми выводами, сарафане; пышные рукава из тончайшего батиста окрыляют ее. Голубые шерстяные чулки выказывают ее пухлые ноги, а башмаки, без задников, на высоких каблуках, изменяют ее осторожной походке. Рекомендую в ней мою землячку, коломенскую пастильницу. Далее миловидная, стройная казачка держится так, что хочет, кажется, пристукнуть медными подковками свою национальную пляску. Вот и калмык раззевает свои кротовые глазки, чтобы взглянуть на чудеса русские; с ним все житье-бытье его – колчан со стрелами и божки его, которых он из своих рук может казнить и награждать. Вот... Но всех занимательных лиц не перечтешь на сцене.

Пары являлись и уходили попеременно, говорили мы. Распорядитель праздника с вниманием модистки рассматривал одеяния (заметьте) пригожих женщин, какого бы они племени ни были, и некоторых из них пригласил даже остаться в зале, чтобы погреться. Ласковое внимание знатного барина, которого наши прадеды почитали за полубога, и к тому ж барина пригожего, зажигало приветливый огонь в глазах русских девушек и, как сказали бы тогдашние старушки, привораживало к нему. Мелькнуло еще несколько пар. Вдруг хозяин

⁴ В Торжке есть поговорка: Ты расти, расти, коса, до шелкова пояса; вырастешь, коса, будешь городу краса. *Примеч. автора.*

⁵ Счаливан. (*Примеч. автора.*) – От старинного выражения «быть счалену», то есть сдружиться.

дома глубоко задумался. Голова его опустилась на грудь; черные длинные волосы пали в беспорядке на прекрасное, разгоревшееся лицо и образовали над ним густую сеть; в глазах начали толпиться думы; наконец, облако печали приосенило их. Долго находился он в этом положении. Никто из домашних этому не удивлялся, ибо с ним такой припадок с недавнего времени случался нередко, даже на дружеских пиршествах и придворных куртагах; действительно ли это был болезненный припадок, или прихоть вельможи, или срочная дань какому-то предчувствию, мы того сказать не можем. Все молчало в зале, боясь пошевелиться; казалось, все в один миг окаменели, как жители Помпеи под лавою, на них набежавшею. Где были тогда думы Волынского? Куда перенесся он? Не играл ли беззаботно на родном пепелище среди товарищей детства; не бил ли оземь на пирушке осушенную чашу, заручая навеки душу свою другу одного вечера; не принимал ли из рук милой жены резвое, улыбающееся ему дитя, или, как тать, в ночной глуши, под дубинкой ревнивого мужа, перехватывал с уст красавицы поцелуй, раскаленный беснующимися восторгами? Зачем также не полагать, что он заседал в Кабинете, где бросал громы красноречия на ябеду и притеснения, или в дружеском кругу замышлял падение временщика? Кто знает, может статься, он грозно смотрел в очи палачу, когда тот поднимал на него секиру! Где были тогда думы Волынского, неизвестно нам; но, судя по характеру его, они могли быть везде, где мы дали им место. В его душе страсти добрые и худые, буйные и благородные владовали попеременно; все было в нем непостоянно, кроме чести и любви к отечеству.

Женатый лет с восемь на пригожей, милой женщине, он между тем искал, где только мог, любовных приключений, которые обращать в свою пользу был большой искусник. Впрочем, ничто не нарушало согласия четы. Сердце Волынского не знало постоянной страсти, а после мгновенной ветрености он возвращался всегда пламенным любовником к ногам супруги. Ее душевные и наружные достоинства умел он лучше оценить после сравнения с другими предметами его волокитства. Сказывали также, или он говорил, что жена его смотрела будто бы довольно хладнокровно на его проказы. Он не имел детей, но всегда их желал. Лаская чужих, забывал, что они не его, и эта любовь к детям, соединяясь с мыслию, что судьба отказала ему быть отцом, делала его иногда особенно грустным. С некоторого времени жена его гостила у родных в Москве, где и занемогла опасно. Носились даже слухи, что она умерла. Может быть, старался подтвердить их и сам Волынский. В продолжение этой разлуки барская барыня составила порядочный входящий журнал его проказам для поднесения своей госпоже; особенно один новый номер, по необыкновенной важности, требовал больших трудов для очистки.

Но ветреник в делах сердечных был совсем другой в делах государственных, и если б порывы пламенной души его не разрушали иногда созданий его ума, то Россия имела бы в нем одного из лучших своих министров. Природные дары старался он образовать чтением лучших иностранных писателей, особенно политических, для перевода которых держал у себя Зуду, ученого, хитрого, осторожного, служившего ему секретарем и переводчиком, ментором и поверенным. Любя свое отечество выше всего, он тем с большим негодованием смотрел, как Бирон полосовал его бичом своим, и искал удобного случая, открыв все государыне, вырвать орудия казни из рук, которым она вверила только кормило своего государства. В то время, когда раблепная чернь падала пред общим кумиром и лобызала холодный помост капища, обрызганный кровью жертв; когда железный уровень беспрестанно наводился над Россиею, один Волынской, с своими друзьями, не склонял пред ним благородного чела. Возвышенному характеру его давали эту смелость и нужда в нем по делам государственным и милостивое внимание к нему государыни, знавшей его преданность к ней и любовь к отечеству. Трудно было разуверить в этом императрицу. Бирон же, добиваясь возможности погубить своего соперника, не только не показывал, что оскорблялся его гордостью, но, напротив, казался к нему особенно внимателен и при всяком случае старался

обратить на него милости ее величества. Впрочем, оба измеряли друг друга, чтобы вернее и ловче уронить. Один из них непременно должен был пасть.

Мы оставили нить нашей повести в зале Волынского, когда он задумался. Минуты эти канули в вечность – он вострепнулся, поднял голову, заложил за уши черные кудри свои и осмотрелся кругом. Перед ним стояли цыган и цыганка. Последняя, красавица в полном смысле этого слова, но красавица уже отцветшая, с орлиною пронизательностью рассматривала вельможу с ног до головы. Казалось, она любовалась им. Если бы нас спросили, что она думала тогда, мы бы сказали: такого бравого мужчину желала своей дочери! Можно ли поверить? – кабинет-министр устыдился, что был застигнут в своем припадке взором цыганки, пристально на него устремленным! Однако ж это было так: он смутился, как будто пораженный чем-то.

– Чудесная игра природы!.. – воскликнул он, наконец, обращаясь к Зуде. – Замечаешь ли?

– Я видел... только раза три... и поражен необычным сходством, – отвечал секретарь, сощутив лукаво свои глазки.

Во время этого переговора на лице цыганки переливалось какое-то замешательство; однако ж, победив его, она своими смелыми взорами пошла навстречу пытливым взорам кабинет-министра и секретаря его.

– Как тебя зовут? – спросил ее Волынской.

– Мариулой, – отвечала она.

– Даже имя!.. Диковина!.. Знаешь ли, Мариула, что лицо твое самое счастливое?

– Таланливо оно и тем, что полюбилось вашей милости.

– Останься здесь; я с тобою еще поговорю.

Цыганка благодарила, приложив руку к сердцу и немного наклонившись, потом стала позади кресел вельможи, в некотором отдалении.

– Кто далее? – спросил Волынской.

Явилась малороссиянка, одна.

– Где ж пара ее? – был грозный вопрос Артемия Петровича. – Эй, Подачкин! Я тебя спрашиваю.

При этом вопросе свинцовый нос Подачкина побелел; матушка его необыкновенно дрогнула плечами и затрясла головой, как марионетка, которую сильно дернули за пружину. Этот вопрос поднял всю нечисть со дна их душ.

Правящий должность пристава сделал несколько шагов вперед и, запинаясь, отвечал:

– Это пьяница, ваше превосходительство, презлой, и пресердитый, и преупрямый, ваше превосходительство...

– Так что ж? ты не мог его усмирить?

– Дорогой я уломал было его. Да под Санкт-Петербургом он начал огрызаться на меня, ваше превосходительство, мы уж и побаивались, что кусаться станет. Памятуя долг присяги и точный смысл данной мне инструкции, я поспешил набить на него колодки.

– Лжешь! тебе дана инструкция обходиться как можно лучше с людьми, которых тебе поручат: на это была собственная воля государыни.

– Божусь богом, ваше превосходительство, чтоб мне в тартарары провалиться, колодки прелегкие, и коли позволите, я пройду в них целую версту, не вспотев. А он ехал в них, да еще в крытой кибитке!

– Куда ж он теперь девался?

– Колодки с него сбили, когда вели его сюда на смотр, и он невесть как пропал...

– Бездельник! Знаю все... я хотел только испытать тебя... ты продаешь меня фавориту... Гм! людей сбывают, как поганую кошку!.. люди пропадают среди бела дня! Но я

отыщу, хотя б мертвого... хотя остатки вырву из волчьей пасти!.. Пора, пора и волка на псарню!

– Саввишна! – прибавил грозно Волынской, взглянув на барскую барыню, – полюбуйся подвигами своего сынка. Как думаешь, мало его повесить за такое дело!

Саввишна поклонилась, сложа руки, и ответствовала голосом глубочайшего смирения:

– Буди твоя барская воля, батюшка! Ты над нами владыка, а мы твои рабы.

– Ты в этих делах не участница, – продолжал Волынской, смягчив голос, – я знаю, ты всегда была предана роду нашему. Но этому мошеннику стоило б набить колодки, такие же легонькие... кабы я не дал себе слова...

– Батюшка! отец родной! – завопила барская барыня. – Помилуй за службу покойного мужа моего, а вашего дядьки. И я тебе, милостивец, служу сколько сил есть, готова за кроху твою умереть... Вот что ты, глупый, наделал, – прибавила она, обратясь к своему сыну и горько всхлипывая.

– С глаз моих долой, негодяй! Счастлив, что не по тебе отец и мать. Теперь оставьте меня вы все, кроме тебя, мой дорогой Зуда, и тебя...

Здесь Артемий Петрович дал знак рукой цыганке, чтобы она не уходила.

– Смотр остальным завтра!

Глава II ЦЫГАНКА

*Я цыганка не простая...
Знаю ворожить.
Положи, барин, на ручку,
Всю правду скажу.*
Опера «Русалка»

Волинской, цыганка, сделавшая на него какое-то чудное впечатление, и Зуда остались втроем. Тогда Артемий Петрович подозвал ее к себе и ласково сказал ей:

– Смолоду ты была, верно, красавицей?

Цыганка, несмотря на свои лета, покраснела.

– Да, барин, – отвечала она, – в свое время много таких знатных господчиков, как ты, за мною увивалось; может статься, иной целовал эти руки, – ныне они черствые и просят милостыню! О! тогда не выпустила бы я из глаз такого молодца. Но прошлого не воротишь; не соберешь уже цвета облетевшего.

– Нет ли у тебя дочки? Мне любопытно было бы видеть ее.

– Кабы имела, я сама привела бы ее к тебе на колена. Народила я деток не для свету божьего; да и кстати! не таскаются за мной, не пищат о хлебе. Уложила всех спать непробудным сном.

– Жаль, очень жаль, что у тебя нет взрослой дочки, а то б сличил... Чудесное сходство! Чем более всматриваюсь, тем удивляюсь более... Даже маленькая, едва заметная веснушка на левой щеке!.. Знаешь ли, Мариула, что тыходишь на одну мою знакомую княжну, как розан увядающий на розан, который только что распукивается?

Во время этих замечаний на лице цыганки показались белые пятна, губы ее побледнели; но она, силясь улыбнуться, отвечала:

– Покажи мне, желанный мой, когда-нибудь мою двойнюшку.

– Пожалуй, я доставлю тебе этот случай. Во дворце, как и везде, старые и молодые девки любят ворожить об суженых.

– Так эта княжна живет во дворце? – спросила Мариула, и глаза ее необыкновенно заблестали, и румянец снова выступил на лицо.

– Под бочком у самой государыни. Государыня ее очень жалует.

– Куда ж нам, воронам, в такие высокие хоромы! Чай, одышку схватишь, считая ступени вверх по лестнице, – каково ж, когда заставят считать вниз!

– Со мною сойдешь и взойдешь безопасно, только, чур, уговор, поворожить княжне на мою руку, понимаешь...

– Понимаю, понимаю, это наше дело!.. Видно, ты больно заразился ею?

– По уши!

– И... наверно, она... также тебя любит?

– Ты ворожея; отгадай сама!

– Изволь, господин талантливый, пригожий; да только и от меня будет уговор: теперь ты должен положить мне золотой на ручку, а за первый поцелуй, который даст тебе твоя желанная, подарить мне богатую фату.

– Вот тебе рублевик; золотую фату получишь, когда сбудется, о чем говоришь. Чего б я не дал за такое сокровище!

– Побожись, что не обманешь!

– Глупенькая!.. Ну, да будет мне стыдно, коли я солгу.

– Давай же руку свою.

Волынской усмехнулся, посмотрел на Зуду, слегка покачавшего головой, и протянул ладонь своей руки. Цыганка схватила ее, долго рассматривала на ней линии, долго над ней думала, наконец произнесла таинственным голосом:

– Давно пели вам с пригожей девицей подблюдные песни; были на ваших головах венцы из камня честна, много лобызаний дал ты ей; да недавно ей спели «упокой, господи!», дал ты ей заочно последнее земное целование.

Волынской покачал печально головой в знак подтверждения.

– Как будто по-писаному рассказывает, – произнес лукаво Зуда, едва не хлопая в ладоши.

– Деток у тебя нет; тебе их очень хочется.

– Ты вырезала мое сердце и прочла в нем, – сказал, вздохнув, Волынской. – Что ж далее?

– Скоро, очень скоро опять золотой венец!.. твоя суженая девица... рост высокий, черненький глаз из ума выводит... бровь дугой... бела как кипень...

– Скажи лучше, с маленьким загарцем, как чесаный лен; но что твои белянки перед ней!

– Статься может, и ошиблась, – сказала цыганка, покраснев. – Молвлю еще тебе, что она не из земли русской, а из страны далекой, откуда лебеди сюда прилетают...

– О! да это слишком много; ты уж успела поразведать кое-что...

Секретарь пожал плечами и сделал ручками знак восклицания. Мариула, углубясь в рассматривание ладони, продолжала:

– Линии так выходят; не я их проводила! Смотри, береги сокровище; не расточи его своею ветреностию; береги и себя. В твоей суженой не рыба кровь здешних русских женщин... Первое дитя будет у тебя мужеска пола... Далее черты путаются так, что не разберешь! Довольно для руки сердечной; дай мне правую ручку (Волынской передал ей другую руку). Эта владеет мечом-кладенцем, или... перышком, которое, говорят, режет исподтишка, что твое железо! Правая ручка достает деньги, честь, славу!.. О! для этих вещиц забываете вы и про любовь, а наша сестра горюй и сохни!

– Да какая же ты красноречивая!.. Где всему этому набралась? Видно, вспомнила старину!.. Вот теперь-то и запутаешься...

– Попытаемся!.. Слушай же! Ты в силе у матушки-царицы; но борешься или собираешься бороться с человеком, который еще сильнее тебя. Брось свои затеи или укроти свой ретивый нрав, уложи свое сердце. Силою ничего не возьмешь, разве возьмешь лукавством. Выжидай всего от времени... Уступай шаг первому: довольно, если будешь вторым...

– Хоть десятым, – воскликнул Волынской вне себя, – но только за человеком, который этого бы стоил, который бы любил Россию и делал бы ее счастливою.

– А то, смотри, если эта вторая линия напрямик переступит эту первую, – беда тебе!

– В сторону нашего мертвого Махиавеля! – сказал Зуда, – примемся за живого, который, право, дает советы не хуже хитрого секретаря Цесаря Боргия!

– Мариула! – произнес ласково кабинет-министр. – Ты умна, как хорошая книга, видишь много впереди и назади, похожа на одну особу, которую... я уважаю, и потому мне очень понравилась.

– Дорога мне твоя ласка, господин, дороже злата и серебра.

– Когда ж ты хочешь... видеть свою двойню?

«Хоть сейчас», – хотела сказать цыганка и удержалась.

– Ныне, завтра, – отвечала она, – мне все равно, лишь бы твоей милости в угоду было.

– Ныне я никуда не выеду; но завтра поговорю о тебе как о славной ворожее придворным барышням, явись в полдень во дворец, спроси меня, – тебя позовут, я за это берусь.

- Во дворец?.. Меня заранее дрожь пронимает.
- Пустяки!.. Дом с людьми, как и мы!.. Только не забудь условия.
- Коли надо тебе будет приворотный корешок или заговоры...
- Скорей твое лукавство и мастерство на некоторые дела. Смотри! (Волынской положил палец на свои губы.)

– Не бойся, барин; ты попал не на такую дуру! Если б пытали меня, скорей откушу себе язык и проглочу его, чем проговорюсь. Прощай же, талантливый мой; не забудь про фату!

– У меня обещано – так сделано! Зуда, напиши от имени моего записку, чтобы ее и цыгана, который с ней, полиция нигде не тревожила и что я за них отвечаю.

Записка была готова в одну минуту, подписана самим кабинет-министром и вручена чудесной Цивилле. Он отправился с Зудой в другую комнату, а Мариула, произнеся вслед им вполголоса, но так, чтобы они слышали: «Зачем я не знатная госпожа? Зачем нет у меня дочери?» – спешила к товарищу своему.

Старый дородный цыган, дожидавшийся своей подруги на дворе, очень обрадовался ее появлению. Жестокий, с лишком в двадцать градусов, мороз прохватывал его до того, что он, за неимением с кем погреться вручную, готов был побарахтаться с медведем. Но как Мариула, после милостивого обхождения с нею кабинет-министра, сделалась важной особой в доме его, то и доставила вход в кухню своему товарищу, едва не окостеневшему. Там его отогрели и обоих накормили, как свиней на убой. Во время их обеда сбегали не раз в кухню дворовые люди и перешептывались о чем-то с поварами. И потому цыганка на вопросы свои, издали забегавшие о семейной жизни гостеприимного и доброго барина, получила только ответы, утвердившие ее в мысли, что Волынской вдовец.

Выходя из дому, она делалась более и более задумчивою и что-то бормотала про себя.

– Какой мороз! – сказал ее товарищ, нахлобучив плотнее свою шапку и подвязывая себе бороду платком. – Того и гляди, что оставишь нос и уши в этом чухонском городке, который ближе бы назвать городскими слободками. Там палаты, около них жмутся мазанки; здесь опять палаты, и опять около них мазанки, словно ребятишки в лохмотьях связались в игру с богатым мужиком. А меж ними луга да площади, как будто нарочно, чтоб ветру ходить было разгульнее!

Цыганка молчала.

– Сильно же машут мельницы! только они и нагреваются ныне. Уф!

Цыганка все хранила угрюмое молчание.

– Ге, ге! да у тебя щека побелела; оттирай скорей.

– Пускай белеет!.. Кабы мороз изрыл мне все лицо так, чтобы признать меня нельзя было!

– Что с тобой, Мариуленька? Ты больно сердита.

– Лишь бы носа не откусил! (Цыганка закрыла его рукавом своим.) Без носу страшно было бы показаться к ней. Сердце петухом поет во мне от одной мысли, что она меня испугается и велит выгнать. (Немного помолчав.) Завтра во дворец?.. Я погублю ее сходством, я сниму с нее голову... На такой высоте, столько счастья, и вдруг... Нет, я не допущу до этого... Вырву себе скорее глаз, изуродую себя... Научи, Василий, как на себя не походить и не сделаться страшным уродом.

– Дай подумать в тепле; а то и мысли стынут.

– Придумай, голубчик; камень с груди свалишь. Меня не жалея, пожалей только мое дитя, мое сокровище. Возьми все, что у меня есть; мало, я пойду к тебе в кабалу.

– Я твой слуга, ты моя куконка и благодетельница; поишь, кормишь, одеваешь меня... Разве только убить себя велишь, тогда тебя не послушаю. Да из какой же беды хочешь себя исковеркать?

– Вот видишь, Вася, по соизволению божью, моя Мариорица здесь... На что ж бы я пришла сюда, как не посмотреть на ее житье-бытье? Мариорица в чести, в знати... за нею ухаживают, как за княжной, за нее сватаются генералы... и вдруг узнают, что она... дочь цыганки!.. Каково мне тогда будет? что станет с нею?.. Нет, не переживу этого! скорей накину на себя петлю!.. На беду, она похожа на меня, как две капли воды; вот уж и Волынской и его приближенный признают это... Признают и другие!.. Господи, господи! от одной мысли меня в полымя бросает!.. Из княжон в цыганки!.. Каково так упасть!.. Я ее лелеяла, я берегла ее от этого позора; она не знает, что я мать ее, – пусть никогда и не узнает!.. Мне сладко быть матерью, а не называться только ею; сладко видеть Мариорицу счастливою, богатою, знатною; не хочу ничем потревожить ее счастья... Умру с тем, что я могла б одним словом... да! таки одним словом... и не сказала его. Видишь, мне одной обязана она всем. Бог это знает да я! Вот что меня утешает; вот, Васенька, что меня утешит, когда глаза мои станут навеки закрываться.

Мариула утерла слезы на щеках.

– Ну, Мариуленька, разогрела ты меня пуще водки, – сказал старый цыган, покрехтывая, – я помогу как-нибудь твоему горю – вот тебе мое слово свято!

Оба замолчали.

Пусто было на улицах и площадях; лишь изредка мелькал курьер, сидя на облучке закрытой кибитки; по временам шныряли подозрительные лица или гремели мерным звуком цепи и раздавалась заунывная песнь колодников: «Будьте жалостливы, милостивы, до нас, до бедных невольников, заключенных, Христа ради!» На всем пути наших цыган встретили они один экипаж: это был рыдван, облупленный временем; его тащили четыре клячи веревочными постромками, а на запятках стояли три высокие лакея в порыжелых сапогах, в шубах из красной собаки и с полинялыми гербовыми тесьмами; из колымаги же проглядывал какой-то господин в бархатной шубе с золотыми кистями, причесанный *a la pigeon*.⁶ Окошки были опущены, вероятно, потому, что не поднимались, и оттого-то грел он себе концы ушей, не закрытые пуклями,⁷ то правым, то левым рукавом шубы. Василий частенько озирался, стараясь, по приметам домов, не сбиться с пути.

– Что ты так посматриваешь по сторонам? – спросила цыганка. – Не сбились ли мы с дороги? Ведь я сказала тебе, ко дворцу.

– Не бойся; я Петров город знаю, как ты свои Яссы. Былому русскому матросу, да еще матросу Петра Алексеевича, стыдно не знать этого корабельного притона. Нырну и вынырну здесь, где хочу. Пожалуй, я перечту тебе все дома. Вот эти каменные палаты, как сундук с высокой крышкою, Остермановы.⁸ Неподалеку выходит на луг деревянный домик со столбиками: это подворье новгородского архиерея Прокоповича. Направо церковь каменная, огороженная деревянным забором, Исакия Далмацкого. Странно! как ни приду в Питер, все она строится. Диковинные были на ней часы с курантами! Тридцать пять тысяч стоили; как час, так и заиграют свои штуки. Года за четыре, говорят, разгневался батюшка Илья-пророк, что музыка над церковью, да и разбил громом часы. Вот, идем мы теперь мимо адмиралтейской крепостцы: небось не перемахнешь чрез валики, даром что водица в канавах заморожена. Смотри-ко, купол-ат над башнею горит, будто славушка Петра Алексеевича. То-то был великий государь, хоть и больно бивал из своих рук! Зато при нем все шло как по маслу, и житье было привольное, веселое, лишь своего дела не запускать. По этой Луговой линии выступали здесь чинно из болот мазанки, да в мазанках слышны были с утра до ночи песни. А теперь, как очистил их пожар, встали наперекор ему высокие палаты – эки гордые, так и прут небо!

⁶ Как голубь (*фр.*).

⁷ Буклями, локонами (*фр.*).

⁸ Ныне дом Сената. (*Примеч. автора.*)

Мало высокой кровли, давай и на кровлю надеть шляпу, или будку чванливую... Зато ни гугу! молчат, как домовища, и скучны, как остроги.

Цыганка плохо слушала рассказы своего товарища и с нетерпением высматривала вперед, не видать ли дворца. Вдруг кто-то, следовавший за ними так тихо, что скрал шум своих шагов, закричал:

– Стойте! *слово и дело!*

– Батюшка! голубчик! – завопила цыганка, поспешив сунуть в руку незнакомца мелкую серебряную монету, – отпусти; мы идем по делу Артемия Петровича Волынского.

При этом имени незнакомец осмотрелся; видя, что поблизости их не было никого, взял деньги и промолвил:

– Ступайте! хорошо, что на доброго человека напали, а то б не легко распутались.

И в самом деле эта встреча могла бы повести цыган к *запечному мастеру*. Молча шли они далее. Но скоро показался трехъярусный дом с корабликом на каждах воротах по сторонам, а за ним Зимний дворец. При виде этих палат язык старика вновь развязался.

– Видишь ли, – сказал он, – этот дом с корабликами по бокам?

– Вижу, ну!

– Это дом Апраксина. А за ним палаты, вот что солнышко играет в окнах незамороженных?

– Не дворец ли уж?

– Да, славное житье в нем, а пуще всего, что там больно тепло. Чай, матушка-государыня ходит теперь, спустя рукава, или поваливается на пуховиках! Уф! брр! экой морозина, так и хватает за сердце!

Цыган, говоря это, проворно плечами переминал и частенько похлопывал рукавицами.

– Знаешь ли, – произнесла с восторгом Мариула, удвоив шаги и подняв выше голову, – знаешь ли, что моя Мариорица живет вот тут, в этом дворце?

Старик покачал головою.

– Да, да, неверный, так живет в этих больших каменных палатах!.. Мариорица – княжна... ее ласкает, любит сама государыня...

– Не морочит ли уж кто тебя?

– Пospорь, я тебе выцарапаю глаза! Сто человек мне это сказывали. Спроси любого прохожего. Все ее хвалят, все ее любят... О! она и сызмала была такая добрая... А Волынской?.. Кабы это случилось?.. Почему ж и не так? Ведь она ему ровнюшка!.. Мариорица княжна... Милая Мариорица!.. Вася, дурачок, миленький, друг мой, что ж ты не говоришь ничего, глухой?

И глаза цыганки прыгали от радости, и щеки ее на морозе разгорались. Казалось, она готова была идти плясать на площади.

– Не с ума ли ты сошла, моя кукона?⁹

– Правда, есть с чего рехнуться! Погоди, остановимся-ка против дворца.

– Чтобы на нас опять закричали *слово и дело* и посадили в каменный мешок.

– Пускай кричат, пусть запрячут! Не боюсь никого. Видишь, видишь, у одного окна кто-то двигается... может быть, она смотрит... Она, она! Сердце ее почуяло свою мать... Василий! ведь она смотрит на меня? Василий! говори же...

– Смотрит, – сказал старик, вздохнув и качая головой.

– Божье благословенье над тобой, дитя мое! Ты во дворце, милая Мариорица, в тепле, в довольстве, а я... бродяга, нищая, стою на морозе, на площади... Да что мне нужды до того! Тебе хорошо, моя душечка, мой розанчик, мой херувимчик, и мне хорошо; ты счастлива, ты княжна, я счастлива вдвое, я не хочу быть и царицей. Как сердце бьется от радости,

⁹ По-молдавански: госпожа. (Примеч. автора.)

так и хочет выпрыгнуть!.. Знаешь ли, милочка, дочка моя, дитя мое, что это все я для тебя устроила...

– Вот к крыльцу подают две кареты золотые, все в стеклах, как жар горят. Экой осмелючок!.. А шоры, видно, из кована золота! Знать, сама государыня изволит ехать, а когда она едет, не велят стоять на дворцовой площади.

– Побежим к крыльцу!

– Воля твоя, наживем себе петлю, а пуще всего, как ты говоришь, погубишь свою...

– Погубить? Дурак! разве я не мать? Может статься, Мариорица поедет... хоть одним глазом взгляну...

И цыганка в несколько прыжков у крыльца дворцового, и покорный товарищ за ней, ни жив ни мертв. В другое время палки осыпали бы их, но было уже поздно...

Появилась государыня Анна Иоанновна среди толпы придворных. По лицу ее, смуглому, рябоватому, но величавому, носилось облако уныния, которое, заметно было, силилась она прикрыть улыбкой. Она недомогала, и медики присоветовали ей как можно более рассеяния и движения на свежем воздухе. Теперь ехала она в манеж Бирона, где обыкновенно упражнялась с полчаса в верховой езде. Ей вздумалось быть там ныне, не предупредив никого, и только едва успели придворные послать к герцогу нарочного уведомить его об этом и двух дежурных пажей в самый манеж приготовить там все к приезду государыни. За нею шло несколько придворных кавалеров и дам в бархатных шубах светлых цветов.

Между этими дамами одна отличалась чудною красотой и собольею островерхою шапочкой наподобие сердца, посреди которой алмазная пряжка укрепляла три белые перышка неизвестной в России птицы. Черные локоны, выпадая из-под шапочки, мешались с соболем воротника. Если б в старину досталось описывать ее красоту, наши деды молвили бы просто: она была так хороша, что ни в сказках сказать, ни пером написать. Это была молдаванская княжна Мариорица Лелемико.

Государыня села в первую карету с придворною дамою постарше; в другую карету вспрыгнула Мариорица, окруженная услугами молодых и старых кавалеров. Только что мелькнула ее гомеопатическая ножка, обутая в красный сафьянный сапожок, – и за княжною полезла ее подруга, озабоченная своим *роброном*.¹⁰ В это время надо было видеть в толпе два неподвижные черные глаза, устремленные на молдаванскую княжну; они вонзились в нее, они ее пожирали; в этих глазах был целый мир чувств, вся душа, вся жизнь того, кто ими смотрел; если б они находились среди тьмы лиц, вы тотчас заметили бы эти глаза; они врезались бы в ваше сердце, преследовали бы вас долго, днем и ночью. Это были два глаза *матери*... Оглянувшись из кареты, заметила их и княжна: она вздрогнула и невольно стиснула руку своей подруги. Кареты двинулись. Раздался в толпе крик, глухой, задушенный, скипевшийся в груди... В этой же толпе хохотали.

– Что такое? – спрашивали друг у друга.

– Упала какая-то цыганка, – отвечали голоса, – видно, сдавили в тесноте... Да палка не свой брат, сейчас поднимет и умиряющего.

¹⁰ Модным платьем с закругленным шлейфом (*фр.*).

Глава III ЛЕДЯНАЯ СТАТУЯ

*И так погибну в цвете лет,
Истлею здесь без погребенья
И неоплакан от друзей!
И сим врагам не будет мщенья
Ни от богов, ни от людей.*

**«Ивик. журавли»
Жуковский**

Летний дворец, Летний сад – сколько цветущих воспоминаний увиваются около этих двух имен! Там, говорите вы, в маленьких покоях Петр I созидал дела великие, которых последствия осенят и наших потомков.

Там, под тенью дерев, им самим посаженных, любил государь, после заповеданных трудовых дней, тешиться, как добрый, простой семьянин. Кому также не известно, что этот сад бывал сборным местом всего Петербурга, когда царь, от избытка удовольствия, спешил сообщить своим любезным подданным и детям весть об успехе важного подвига, совершенного им для блага России? Радость передавалась безусловно; все состояния в ней равно участвовали. Уж и наши прадеды не любили ломаться на зов надежды-государя и угощения матушки-царицы и великих княжон. Хмельные от вина, медов и торжества, они не чинились, тем более что, по простому обычаю старины, и сам державный бывал иногда навеселе. Все говорили вслух о том, что было у них на душе, потому что в душе ничего не таилось против хозяина. Аллеи кипели и шумели; на скамьях обнимались; в гроте, убранном на диво заморскими раковинами, слышались поцелуи; водометы плескали, и самые мраморные статуи, между перебегающими группами, казалось, двигались. На царицыном лугу народ роился; там деревянный лев, обремененный седоками, беспрестанно нырял в толпе и высоко возносился на воздух; покорные под всадниками лошадки и сани с обнимающимися парами кружились так, что глазам зрителей было больно. Тут же любопытных допускали смотреть в зверинце двух живых львов и слона. Только темная ночь разгоняла пирующих. Когда же государь, распрощавшись с гостями своими, уходил в двухэтажный домик, охраняемый любовью народной, он мог слышать, как провожали его виваты иностранцев и благословения русских.

И вдруг исчезает на время очарование этих воспоминаний. Порог этого храма переступает Бирон, поставив у входа его секиру. В жилище державного и вместе великого святотатственно водворяется он, не прикрыв доблестями душевными рода своего, не скрасив славными подвигами своего властолюбия. Наружным величием старается он заменить истинное: к маленькому дому сделаны огромные пристройки; блестящий двор и гвардия герцога курляндского наполняют его. Видны везде власть, великолепия, фортуна; везде вытягивается временщик; но где сила народной любви? где человек народный, вековой? Дом переменял хозяина, и все в нем и вокруг его изменилось: бывало, походил он на кордегардию, и его все-таки величали дворцом; Бирон силится сделать его дворцом – и он смотрит кордегардией. Ужас царствует вокруг этого жилища; сад и в праздниках и в будни молчалив; не нужно отгонять от него палкою, – и без нее его убегают, как лабиринта, куда попавшись, попадешься к Минотавру на съедение; кому нужно идти мимо жилища Бирона, тот его дальними дорогами обходит.

Зимой – именно в то время, в которое происходит начало действия нашего романа, – зимой, говорю я, сад с окованными водами, с голыми деревьями, этикетно напудренными

морозом, с пустыми дорожками, по которым жалобно гуляет ветер, с остовами статуй, беспорядочно окутанных тогами, как саванами, еще живее представляет ужас, царствующий около его владельца.

Благодарение богу, нечистый дух выкурен из этого жилища с того времени, как посетил его добрый гений дочери Петровой; очарование воспоминаний снова окружает маленький домик в Летнем саду.

Но обратимся к зиме 1739/40 года.

Мы не взойдем теперь в жилище Бирона, а перенесемся через Фонтанку в манеж его. Он расположен на берегу в длинной мазанке с несколькими осьмиугольными окнами по стенам и двумя огромными, из пестрых изразцов, печами на концах. Подле одной печи сделано возвышение в виде амфитеатра с узорочными перильцами и балдахином из малинового сукна с золотою бахромой. Под балдахином стоят кресла с высокою спинкою, обитые малиновым бархатом. У ручек вытягиваются два пажика в высоких напудренных париках, с румяными щечками, как два розана, уцелевшие под хлопками снега, в блестящих французских кафтанах, которых полы достают почти до земли, в шелковых чулках и башмаках с огромными пряжками. По временам кладут они на перила свои детские головы в стариковской прическе, как бы высматривая кого-то. Вот все, что замечательно в манеже. За ним, через обширный двор, тянутся каменные великолепные конюшни, в которых красавицам лошадям, выписанным из Голстинии, Англии и Персии, тепло и привольно. Как их холят и нежат! Люди, ухаживающие за ними, завидуют их жизнью-бытьем. От конюшен идет каменная ограда до набережной; за оградой нечистый дворик и посреди его колодезь с насосом, ручкою для качки воды и желобом, проведенным в конюшню. Подле самого колодца дерево почти без сучьев. На главный двор два въезда – с Фонтанки и с Невы.

Вообразим, что мы пришли к манежу за полчаса до пажей, и посмотрим, что делается на заднем дворе.

К дереву крепко привязан под мышки мужчина, высокий, сутуловатый, желтоликий, с отчаянием в диких взорах; на нем одна рубашка; босые ноги оцеплены. Хохол на бритой голове изобличает род его. Это малороссиянин, которого недоставало на смотре Волынского. Жестокий мороз хватает жгучими когтями все живое; людям тяжело дышать; полет птиц замедляется, и самое солнце, как раскаленное ядро, с трудом выдирается из морозной мглы. Каково ж в одежде тропических стран стоять в снегу под влиянием такой атмосферы? Однако ж малороссиянин еще стоит – не стонет, а только скрежещет зубами. Сначала он дрожал, теперь окаменел; ноги его горели, как на раскаленном железе, теперь онемели. Против него храбрится офицер среднего роста, пузатый, с зверскою наружностью, в медвежьей шубе. Это адъютант герцога курляндского, Гроснот. По обеим сторонам малороссиянина человека с четыре конюхов.

– Обругать его светлость! писать на него доносы! – кричал Гроснот ломаным русским языком и сиплым от досады голосом, остря кулаки на свою жертву. – Знаешь ли, с кем тягаться?.. Мы всчешем тебе хохол курляндского гребеночкой; мы собьем с тебя панскую спесь, поганый Мазепа!

Малороссиянин глубоко вздохнул и поднял глаза к небу.

– Что? мороз не уговаривает ли тебя? Скажешь ли, где бумаги?

– Ни! – произнес твердо малороссиянин.

– Посмотрим! Гей, ребята! ушат с водою! – закричал адъютант.

Разом накачали конюхи воды в ушат. Лицо малороссиянина исковеркали судороги; потом глаза его налились кровью и впились в своего мучителя.

Гроснот тряхнул головой, как бы для того, чтобы избавиться от неподвижного взгляда своего мученика, и дал приказ двум конюхам стать на скамейку, приготовленную у дерева, и поднять туда ж ушат с водою.

– Скажешь ли, куда девал донос? – спросил он.

– Передал богу, – был ответ.

– Окатите ж его!

И ушат воды вылит на голову несчастного.

Облако пара обхватило его, но скоро исчезло, подрезанное морозом. Хохол его уни-
злся бусами, темя задымилось; рубашка стала на нем, как бумага картонная.

– Го-го-го! – застонал малороссиянин в этом жестком мешке, собрав последние силы, –
дойдет бумага до императрицы, хоть сгину... Скажи своей... бесовой собаке... Бог отплат...
бр...

Здесь он захлебнулся.

– Еще ушат и еще! удвоить порцию! – заревел адъютант.

Другой ушат воды обдал мученика с ног до головы. На этот раз рубашка покрылась
чешуей, и струи, превратясь будто в битое стекло, рассыпались с треском по снегу.

После третьего ушата хохол повис назад, как ледяная сосулька, череп покрылся новым
блестящим черепом, глаза слиплись, руки приросли к туловищу; вся фигура облачилась в
серебряную мантию с пышными сборами; мало-помалу ноги пустили от себя ледяные корни
по земле. Еще жизнь виляла легким паром из уст несчастного; кое-где сеткою лопалась ледя-
ная епанча, особенно там, где было место сердца; но вновь ушат воды над головою – и мало-
россиянин стал одною неподвижною, мертвою глыбой.

– Государыня будет скоро в манеж! – закричали на дворе, – вот и пажы приехали.

– Лей, лей проворнее! а то мне и вам беда! – командовал испуганный адъютант.

Еще два-три ушата, и нельзя было признать человека под ледяною безобразною ста-
туей. Она стала на страже колодца. Солнце, выплыв из морозной мглы, вспыхнуло на миг,
как будто негодуя на совершенное злодеяние, и опять скрылось во мгле.

– Государыня едет! – закричали опять на дворе.

Гроснот возвратился в манеж, будто ни в чем не бывало, а исполнители его подвига
– в конюшню.

Государыня любила верховую езду и была в ней очень искусна. Нынешний же раз,
чувствуя себя слабою, сделала только два-три вольта, сошла с лошади, села на кресла под
балдахин, окруженная своею свитой, и с высоты любовалась мастерскою ездой Бирона,
статного, довольно красивого, хотя жестокость его прокрадывалась по временам сквозь глаза
и вырезывалась неприятным сгибом на концах губ. Он был в светло-голубом бархатном каф-
тане. На лошади под ним, изабеллова цвета, блистал чепрак, облитый золотом и украшен-
ный по местам шифром государыни из бирюзы; крупные же бирюзовые камни вделаны
были в уздечку. Герцог подъехал, наконец, к возвышению, где находилась императрица, и,
скинув перед ней шляпу, поникнув несколько головой, ждал себе лестной награды. Госуда-
рыня встала с своего места, подошла к перилам, приветствовала всадника улыбкой, ласкала
рукою прекрасное животное, на котором сидел Бирон и которое положило свою голову на
перила, как бы ожидая и себе внимания царицы. Разные нежные имена были даны любимице
Бирона, названной им бриллиантом его конюшни; красавица, казалось, от удовольствия била
землю копытом. Велено было принести кусок хлеба, который и схватила она осторожно из
нежных рук. Придворные дамы любовались этою сценою; вся душа пажиков была в глазах
их, сверкающих от радости; одна Мариорица не заботилась о том, что делалось около нее,
и часто обращалась взорами ко входу в манеж.

– Едем! – сказала, наконец, Анна Иоанновна, кивнув благосклонно Бирону, и он, соско-
чив с лошади, оставшейся как бы вкопанною на своем месте, свел государыню с возвыше-
ния.

У входа в манеж тряслись на морозе Гроснот и *нечто* в розовом атласном кафтане,
которое можно было б изобразить надутым шаром с двумя толстыми подставками в виде

ног и с надставкою в виде толстой лысой головы, о которую разбилась бы черепаха, упав с высоты. В этой голове было пусто; не думаю, чтобы сыскалось сердце и в туловище, если бы анатомировали это *нечто*, зато оно ежедневно начиналось яствами и питьями, которых доставало бы для пятерых едоков. Это *нечто* была трещотка, ветошка, плевалый ящик Бирона. Во всякое время носилось оно, вблизи или вдали, за своим владыкою. Лишь только герцог продирает глаза, вы могли видеть это огромное *нечто* в приемной зале его светлости смиренно сидящим у дверей прихожей на стуле; по временам *оно* вставало на цыпочки, пробиралось к двери ближайшей комнаты так тихо, что можно было в это время услышать падение булавки на пол, прикладывало ухо к замочной щели ближайшей комнаты и опять со страхом и трепетом возвращалось на цыпочках к своему дежурному стулу. Если герцог кашлял, то *оно* тряслось, как осенний лист. Когда же на ночь камердинер герцога выносил из спальни его платье, *нечто* вставало с своего стула, жало руку камердинеру, и осторожно, неся всю тяжесть своего огромного туловища в груди своей, чтобы не сделать им шуму по паркету, выползало или выкатывалось из дому, и нередко еще на улице тосковало от сомнения, заснула ли его светлость и не потребовала бы к себе, чтобы над ним пошутить. Вы могли видеть *нечто* у входов верховного совета, сената, дворца и даже Тайной канцелярии, когда в них находилась его светлость; на всех церемониалах, ходах, пиршествах и особенно жирных обедах, где только обреталась его светлость. Этот кусок мяса, на котором творцу угодно было начертать человеческий образ, это существо именовалось Кульковским. Высочайшее его благо, высшая пища его духа или пара животного, заключалось в том, чтобы находиться при первом человеке в империи. В царствование Екатерины он находился *при* Меншикове, в царствование Петра II *при* Долгоруком, ныне же *при* Бироне. Так переходил он от одного первого человека в государстве к другому, не возбуждая ни в ком опасения на счет свой и ненависти к себе, во всякое время, при всех переменах, счастливый, довольный своей судьбой. Где был временщик, там и Кульковский; привыкли говорить, что где Кульковский, там и временщик. Сделаться необходимою вещью, хоть плевательницею этого, – вот в чем заключалась цель его помышлений и венец его жизни. И он достиг этой цели; от привычки видеть каждый день то же бесстрастное, спокойное, покорное лицо Бирон скучал, когда занемогал Кульковский. Всякое утро и вечер первый человек в империи приветствовал его улыбкой, иногда и гримасой, которая всегда принималась за многоценную монету, а если герцог в добрый час расшучивался, то удостоивал выщипать из немногих волос Кульковского два-три седых волоса, которых у него еще не было. Знак этой милости, несмотря на боль, особенно радовал его. Для поощрения ж к дальнейшему ревностному служению иногда поручали ему первому повестить о награде или немилости, ниспосылаемых герцогом. Кроме этого, во всю жизнь его давали ему, еще при Екатерине, одно важное поручение в Италию; но он, исполнив его весьма дурно, возвратился оттуда католиком. И веру свою переменил он от желания угождать первому человеку в Риме, то есть папе, которого туфли удостоился поцеловать за этот подвиг. О ренегатстве его, скрываемом им в Петербурге, только недавно узнала государыня и искала случая наказать его за этот поступок не как члена благоустроенного общества, а как получеловека, как шута. Надо, однако ж, присовокупить, что он имел достоинство молчать обо всем, что делалось в глазах его и о чем не приказано ему было говорить, хотя б то было о прыщике, севшем на носу его светлости.

Когда государыня, у входа в манеж, заметила Кульковского, она улыбнулась; молдавская княжна, взглянув на него, едва не захохотала. Сели в карету. Велено ехать на набережную Невы. Экипаж поравнялся с оградой дворика: тут Анна Иоанновна, по какому-то внутреннему побуждению, обернулась направо, и в глаза ее блеснула под лучом полуденного солнца ледяная статуя. Государыня приказала остановить карету и, подозвав к себе герцога, ехавшего за нею в санях, спросила его, что за ледяная фигура видна на маленьком дворе.

Кликнули Гроснота.

– Что такое? – угрюмо спросил герцог своего адъютанта, указывая на дворик. В этом вопросе подразумевалось: «Дурак! что ты сделал?»

Гроснот, не смутясь, отвечал:

– Конюхи вашей светлости вылили для забавы ледяную статую.

Ответ был услышан государынею.

– Этот случай, – сказала она ласково Бирону, – дает мне мысль построить ледяной дворец с разными фигурами.

– Как то было при его величестве, блаженные памяти, – прервал герцог.

– С большими затеями, если можно. Да, кстати, мне хотелось проучить Кульковского, чтобы он вперед не целовал у папы туфлей. Сколько ему лет?

– С прошлого месяца он начинает другой полвека.

– Мы женим его и сыграем свадьбу в ледяном дворце. Объявите ему также, что я жалую его в пажи к моему двору. Как это лучше устроить, мы поговорим в тепле.

С последним словом императрицы карета тронулась, облепленная по бокам дворец гайдуками, а сзади двумя турками. Пятидесятилетнему Кульковскому велено явиться ко двору в должность пажа и искать себе невесты: надо было нити его жизни пройти сквозь эту иголку, и он выслушал свой приговор с героической твердостью, несмотря на поздравления насмешников-пажей, просящих его, как товарища, не лишить их своей дружбы.

Скоро манеж и двор опустели, и под вечер ледяная статуя отвезена... куда – вы узнаете после.

Глава IV ФАТАЛИЗМ

*Восточной странностью речей,
Блистаньем зеркальных очей
И этой ножскою нескромной...
Ты рождена для неги томной,
Для упоения страстей.*
«Гречанке». Пушкин

Волынской лежал в своем кабинете на диване. Он решился целый день не выезжать и сказался больным, ожидая возвращения Зуды, которого послал отыскивать следы пропавшего малороссиянина. Этот малороссиянин был для него тяжелая загадка.

Грудь его разрывалась от досады, когда он помышлял, что властолюбие Бирона, шагая по трупам своих жертв, заносило уже ногу на высшую ступень в России. Герцог имел свой двор, свою гвардию; иные, будто ошибкой, титуловали его высочеством, и он не сердился за эту ошибку; считали даже милостью допуск к его руке; императрица, хотя выезжала и занималась делами, приметно гасла день ото дня, и любимец ее очищал уже себе место правителя.

«Жду случая свергнуть его, – думал Волынской, – жду перемены к нему государыни; а когда этот случай настанет?» К этим мучительным мыслям присоединилось и чувство, столько же, если не более, мучительное. Женатый, он любил...

Какая же несчастная была предметом этой любви?

Восемнадцати лет, княжна Мариорица Лелемико испытала уже так много превратностей, что можно было наполнить ими долголетнюю романическую жизнь.

С малолетства лишившись отца и матери, на пепелище дома, разграбленного и сожженного янычарами, Мариорица досталась в удел хотинскому паше. Он готовил ее для собственного гарема, но, пока пленница росла вместе с своими прелестями, старость предупредила его замыслы. Тогда честолюбие заменило в нем все прочие страсти, и хотя он с помощью скамейки садился на лошадь, но все еще метил в сераскиры или по крайней мере в трехбунчужные. Мысль угодить повелителю правоверных, подарив ему диковинную красоту, блеснула в его голове, и с того времени смотрел он на княжну как на лучшее украшение султанского гарема, как на будущую свою владычицу и покровительницу. Он видел уже в ней любимую султаншу, а себя одним из первых сановников под луною. Дочь нельзя более нежить и утешать, как он нежил и утешал ее. Пиастры сыпались иностранцам, чтобы развить в ней все дарования, способные обворожить падишаха. И старик мог рассчитывать верно, судя по наружным и душевным ее прелестям. Когда Мариорица, разбросав черный шелк своих кудрей по обнаженным плечам, летала с тамбурином в руках и вдруг бросала на своего опекуна молниеносные, сожигающие взоры или, усталая, останавливала на нем черные глаза свои, увлажненные негою, избытком сердечным, как бы просящие, жаждущие ответа; когда полураскрытые уста ее манили поцелуй – тогда и у старика поворачивалась вся внутренность. Он вздыхал, очень тяжело вздыхал, и готов бы был отдать свой Хотин, свою бороду и все прошедшие и будущие милости падишаха за несколько минут давно прошедшей молодости. Оканчивалось тем, что он обращался мысленно к пророку, а там снова к мечтам честолюбия. Иногда только, когда вкушал соку плода, запрещенного Кораном, он приходил к своей пленнице и осмеливался коснуться устами своими прекрасной ножки ее, приложив наперед, в знак почтительности, правую руку к чалме, а левою подобрав свою бороду. И шалунья из прихоти допускала его к этой милости, а куда не простирается прихоть женщины? Ей было

весело, что борода паши, довольно пушистая, щекотала ее нежную, пышную ножку. Случалось и то в подобных изъятиях особенного ее благоволения, что шаловливая ножка, будто ненарочно сваливая чалму с головы старика, обнажала таким образом огромную сияющую лысину. Княжна при виде ее смеялась до слез и позволяла ему за это удовольствие подремать на ее коленях. Впрочем, она любила пашу как благодетеля своего, как родственника и умела это изъяснять ему даже в своих детских шалостях.

Мариорице даны были учителя, каких она только вздумала иметь. Она танцевала, как мы уж сказали, с такою ловкостью, что приводила в исступление и старика, и играла на гитаре с большою приятностью. А как ее учительница танцевания и музыки была француженка, то она в скором времени выучилась говорить и писать на этом языке с большою легкостью. От христианской веры, в которой она родилась, остались у ней тайные понятия и золотой крест на груди. Каким образом этот крест попал к ней, она не помнила; только не забыла, что женщина, которая вынесла ее из пожарища, когда горел отцовский дом, строго наказывала ей никогда не покидать святого знамения Христа и, как она говорила, благословения отцовского. Эта самая женщина продала ее хотинскому паше. Француженка, узнав, что Мариорица родилась христианкою, старалась беседами на языке, непонятном для черных стражей, ознакомить ученицу свою с главными догматами своей веры. От этого учения и гаремного воспитания ее сочетались в душе Мариорицы, пламенной, мечтательной, и фатализм магометанский и мистицизм христианский, так что в небе, созданном ею, обитали и чистейшие духи и обольстительные девы пророка, а на земле все действия человека подчинялись предопределению.

Старый паша любил ее сначала как будущий предмет своих удовольствий, потом как средство достигнуть чести и, наконец, как дочь. Он избавлял ее от делания шербета, конфет и других трудов домашних, сносил ее прихоти и капризы, лелеял ее и берег, как дорогую жемчужину, на которую обладатель ее боится дышать, чтобы не потемнить ее красоты. Прислуга, стокая от боязни наказания, стерегла ее денно и нощно. Ни один взгляд молодого мужчины не перелистывал еще ее девственных прелестей, этой роскошной поэмы, в которой мог бы зачитаться и сам небожитель, как некогда пустынный заслушался пеночки на целое столетие. Пришла пора везти Мариорицу ко двору верховного владыки, и паша задумывался и откладывал отъезд. Самые мечты честолюбия не радовали его. Настало, однако ж, время им расстаться, но, по воле судьбы или предопределения – так называла ее Мариорица, – загорелась война между Турцией и Россией, и в губернаторы хотинские назначен сын опекуна, известный под именем знаменитого Калчан-паши. С того времени старик возненавидел тайно султана и явно своего преемника, хотя единокровного, и поклялся скорей передать свои сокровища, в том числе и воспитанницу, неверным, собакам-христианам, нежели тем, которые так жестоко оскорбили его старость и долголетнюю службу. Тут грянула ставучинская битва, столь славная для русского оружия, как будто нарочно для того, чтоб выполнить клятву старика; ибо вслед за тем Хотин был сдан русским, а прекрасная Мариорица, с богатствами двух пашей, отца и сына, в числе с лишком двух тысяч человек обоего пола, доставалась в добычу победителей. Ее воспитатель сам представил ее Миниху как молдаванскую княжну и поручил милостям государыни. Участь княжны, попавшейся к неверным псам-магометанам, тронула военачальника. Он взял ее под особенное свое покровительство и с офицером (старым, израненным) послал, отдельно от других пленников, в Петербург, описав ее чудесную историю, как сам слышал, государыне.

При дворе и знати была тогда мода на калмыков и калмычек, не менее бешеная, как на дураков, шутов и сказочников обоего пола и разного состояния, начиная от крепостных до князей. С жадностью доставали детей азиатской породы, как дорогую собачку или лошадь, и не один супруг пострадал от холодности своей половины, если не мог подарить ей в годовой праздник восточного уродца. Калмыков этих приводили *в веру крещеную*, лелеяли, клали

спать с собою в одной спальне и выводили *в люди*, то есть в офицеры, или выдавали замуж за офицеров с богатым приданым, часто на счет и к невыгоде родных детей. Судите после этого, какую же суматоху должен был произвести в Петербурге приезд Мариорицы. Романическая ее жизнь, ее красота, ее род и отечество вскружили всем голову до того, что, если б можно было, каждая знатная госпожа не пожалела бы дать половину своего имения, чтобы иметь при себе молдаванскую княжну. Ныне в исступлении говорят: «Ah! j'enrage, ma chère,¹¹ что не могу иметь к вечеру NN райской птички». Тогда говорили вздыхая: «Ах! мать моя, каков этот иностранный немец Миних, прислал сюда только одну молдаванскую княжну, а, сказывают наши, полонил их тысячу, да отослал к своим, в немецкую землю, – ну съела бы его зубами!»

Сама государыня была в восхищении от Мариорицы, поместила ее в ближайшей от себя комнате между своими гоф¹² – девицами, нарядила в полунациональную, полурусскую одежду, как можно богаче, и в учителя русского языка выбрала для нее служащего при С.-Петербургской академии *де сиянс*¹³ Василия Кирилловича Тредьяковского. Этот вельми ученый муж каких языков не знал! На французском писал он стихи едва ли не лучше, нежели на русском; из Фенелонова Телемака воссоздал знаменитую «Телемахиду», с цитатами греческими, латинскими и прочими, и в два приема исчерпал весь гений Роллена, своего учителя. И потому он должен был служить Мариорице, посредством французского языка, проводником к познанию русского. Обладая способностями необыкновенными и побуждаемая к изучению его силою внутреннею, творящею чудеса, она в несколько месяцев могла свободно изъясняться и на этом языке.

Мариорица не успела еще образумиться от зрелища новых и странных предметов, поразивших ее при дворе русском, от новой своей жизни, ни в чем не сходной с той, которую вела в гареме хотинского паши, и успела уже под знамя своей красоты на вербовать легион поклонников. Лесть мужчин, их услужливое внимание преследовали ее до того, что стали ей приторны; старухи, у которых не было дочек, называли ее ненаглядною; молодые говорили, что они от нее без ума, наружно ласкали ее, как любимую игрушку, как любимицу государыни, но втайне ей завидовали. Так ведется со времен двух первых братьев!

Года, кажется, за два до приезда ее в Петербург, когда русские уполномоченные в Немирове¹⁴ вели переговоры с турками, старый паша, ее воспитатель, в шутку говорил, что, если Мариорица не любит его, он уступит ее русскому послу Волынскому, о котором слава прошла тогда до Хотина. «А молод ли он? хорош ли он?» – шутя спрашивала Мариорица своего воспитателя. И что ж? По странному стечению обстоятельств, этот самый Волынской, когда она, по приезде в Петербург, остановилась в отведенной ей квартире, был первый из придворных, который ее встретил и от имени государыни поздравил с благополучным прибытием. Увидеть мужчину ловкого, статного, красивого, с глазами, пронизывающими насквозь сердца, с черными кудрями, свободно падающими на плеча (Волынской редко пудрился), и сделать сравнение с ним и турецким длиннородым козлом или черным евнухом значило с первого приступа склонить оружие. При кабинет-министре, не знавшем иностранных языков, находился тогда переводчик, вовсе не любезный и непривлекательный. Лицо круглое, как мапемонда,¹⁵ синеватое, задавленное масляным галстуком, на котором покоился тучный, двумя ступенями, подбородок; бородавка на левой щеке, умильно-важная физиономия, крутой сияющий лоб, вделанный в мучной насаленный оклад с двумя мучными же мортирами по бокам и черным кошельком назади, одним словом, это все был сам Василий Кирилло-

¹¹ Ах! я в бешенстве, моя дорогая (*фр.*).

¹² Придворными (от *нем.* Hof – двор).

¹³ Академии наук (*фр.* Académie des sciences).

¹⁴ Польском местечке, пограничном с турецкими владениями. (*Примеч. автора.*)

¹⁵ Карта полушарий (*фр.*).

вич Тредьяковский. «Жаль, – думала Мариорица, – что этот дурной, а не тот пригожий мужчина, должен со мной объясняться». Волинскому некогда было думать: увлеченный красотою молдаванки, он спешил выражаться красноречивым подлинником взоров и словами через своего толмача. Слова эти дышали теплотою Востока и, благодаря верности перевода, щекотали сердце неопытной девушки, приводили ее в какое-то смущение, ей доселе неведомое. Мариорица хотела знать фамилию посланного к ней от императрицы.

При имени Волинского княжна затрепетала. Фатализм, которым она с малолетства была напитаана, сказал ей, что это самый *тот*, неизбежный ею, суженый ей роком, что она ведена с пепелища отцовского дома в Хотин и оттуда в страну, о которой и не мыслила никогда, потому единственно, что еще при рождении назначено ей любить русского, именно Волинского.

Прибавьте к этому пламенное воображение и кипучую кровь, весь этот человеческий волканизм, с одной стороны, с другой – примешайте вкрадчивую любезность, ум, страсть в каждом движении и звуке голоса – и рецепт любви готов. Маленький доктор, в блондиновом паричке и с двумя крылышками за плечами, попав раз к таким пациентам, то и дело посещает их и каждый раз, очинивши исправно свое перо, пишет на сигнатурке: *repetatur*¹⁶ *прибавить того, усилить сего*.

Волинской вышел от молдаванской княжны в каком-то чаду сердечном, видел только по дороге своей два глаза, блестящие, как отточенный гранат, как две черные вишни; видел розовые губки – о! для них хотел бы он превратиться в пчелу, чтобы впиться в них, – видел только их, отвечал невпопад своему переводчику или вовсе не отвечал, грезил, мечтал, забывал политику, двор, Бирона, друзей, жену... В его голове и сердце все было эдем, восторги, райские минуты, за которых не взял бы веков; все было я и *она*! А препятствия? Их не существовало, их не могло существовать: девушка так неопытна, воспитана в гареме, готовлена для гарема; по глазам ее видно, что у ней в жилах не кровь, а огонь... жена еще не скоро придет из Москвы; можно найти и средства задержать ее... кабы умерла? (да, и эта преступная мысль приходила ему в голову!...) остальное докончит искусство, притворная и, может стать, истинная страсть.

И вот княжна Лелемико во дворце. Сама государыня заботится доставить ей покой, приятности всякого рода, показывает ей свой Петербург, свое войско, учреждает для нее игры, праздники, балы и, привыкшая видеть около себя притворство и лесть, утешается, как чистосердечно, простодушно, чувствительно дитя полуденной природы, как все новое занимает ее и утешает. И Мариорица почти везде за государыней и везде видит Волинского, и скоро едва ли не одного неизбежного Волинского. Все молодые мужчины кажутся ей куклами, попугаями, существами бездушными. Сначала он не может говорить ей о своей любви; но при каждом свидании взорами своими волнует ее душу, так что ее душа, кажется, бежит вон из тела. Нередко танцует он с нею (она выучилась уже европейским танцам). Пожатие руки его проникнуло тонким ядом все ее существо; она смущена новым для нее ощущением, хочет отнять руку и не отнимает... В другой день, на другое пожатие она отвечает ему тем же... и ей кажется в эту минуту, что земля и небо готовы перед ней и над ней раскрыться. Эпоха сладостная для влюбленных! Они не забывают ее ни в будущих сильнейших восторгах, ни в муках любви. Возвратясь в свою спальню, она горела вся в огне и заснула в обворожительных мечтах.

К учителю русского языка летали от Волинского перстеньки, табакерки, и подвигалась кафедра элоквенции в академии *де сиянс*, и потому можно судить, что он действовал по точной инструкции кабинет-министра. Первые слова, которые ученица затвердила, были: *милый друг! люблю тебя!* Как сладко, как обворожительно выговаривала она эти

¹⁶ Повторить (лат.).

слова! В слово *милый* она вставляла р, отчего произносила *мирлый*; но эта ошибка придавала ему какую-то особенную прелесть в устах ее. И сам Василий Кириллович, слушая первый выученный урок, почесывал свое темя, как будто у него под черепом что-то жгло. Ни при ком не произносила Мариорица этих слов, как при Тредьяковском, догадываясь, что он перенесет их на крыльях своего усердия Артемию Петровичу. Лекции русского языка проходили часто между учителем и ученицей в разговорах о кабинет-министре, которого благородство, щедрость, чувствительность превозносились до небес. Разумеется, учителю строго запрещено было упоминать о том, что Артемий Петрович женат: это выполнялось свято. А девушке и не приходила в голову мысль, что тот, кто ее любит, мог иметь неразрывные связи с другой, что любовь его преступна. Разумеется, и княжна умоляла Василия Кирилловича не рассказывать Волынскому, что она иногда говорит о нем: учитель обещал, но был верен своему слову только до первой встречи с покровителем. Вскоре могла она сама понимать по-русски вкрадчиво-нежные выражения Артемия Петровича, выражения тем более опасные, что они были новы для нее, как сама любовь.

Можно догадаться, что при таких обстоятельствах любовь бежит огнем по пороховой дорожке. И что ж? Во всем этом, как вы видите, был виноват фатализм.

Далее... Не все же вдруг сказывается: дайте мне, как жаворонку, завести мою песнь от земли.

Глава V

ТАИНСТВЕННОЕ ПОСЛАНИЕ

*Скажи, в чем тут есть главное
уменье? –
В том, – отвечал сосед, –
Чего в тебе, кум, вовсе нет:
В терпенье.*

Крылов

*Победа, смерть ли? будь что будет,
Лишь бы не стыд!*

Языков

Итак, Волынской лежал вечером на диване в своем кабинете, волнуемый двумя чувствами: любовью к Мариорице и ненавистью к Бирону. Мечты его нарушены приходом араба, который и подал ему пакет от герцога. Кабинет-министр несколько встревожился, ибо такого рода посылки сопровождалась или чрезвычайною милостью, или какою-нибудь грозой. Он сорвал печать и, к удивлению своему, нашел в пакете еще другой, запечатанный, с надписью руки самого Бирона, и бумагу в лист, просто сложенную. Полагая, что это какой-нибудь документ, он поспешил распечатать письмо и прочесть его прежде.

Герцог дружески сожалел о нездоровье Артемия Петровича, присовокуплял, что он без него как без рук; что ее величество изволила об нем с большим участием проведывать и, в доказательство своей к нему милости, назначила ему в награду двадцать тысяч рублей по случаю мира, заключенного с турками.

– А! – сказал про себя Волынской, оставив на минуту чтение письма, – временщик думает купить меня этим известием; но ошибается! Что бы ни было, не продам выгод своего отечества ни за какие награды и милости!

Спрашивали также в письме, как идут приготовления к известному празднику, и уведомляли, что государыне угодно сделать прибавление к нему построением ледяного дворца, где будет праздноваться и свадьба Кульковского, для которого уже и невесту ищут. Ее величеству желательно, чтобы и устройством ледяного дома занялся также Артемий Петрович. Рисунок обещано прислать завтра чем свет.

Волынского, знакомого с махиавелизмом Бирона, не удивило ни дружеское содержание письма, ни предложение новых занятий – последнее он уже наперед отгадывал, – но изумило его то, что в послании его светлости – ни слова о приложенной бумаге.

«Вам угодно было знать, – писали в ней рукой незнакомой и почерком весьма поспешным, – куда девался малороссиянин, не явившийся ныне к вам на смотр. Исполняю не только это желание, но и обнаруживаю вам обстоятельства, скрытые для вас доныне. Плачу тем дань не званию и богатству вашему, не видам каким-либо, но высокому достоинству человека, которое в вас нашел. Давно уже благородная ваша душа привязала меня к вам. Не старайтесь узнавать, кто я; вы, может быть, погубите меня тем, а себя лишите важного помощника в борьбе с сильным временщиком. Его шпионы окружают вас везде; вы имеете их у себя дома. Они следят все ваши слова, поступки, движения, доставляют обер-гофкомиссару Липману, главному шпиону, сведения обо всем, что у вас делается, говорится, и о всех, кто у вас бывает. Ваши друзья уже на замечании. Известно, что вы составляете заговор против его светлости. Я не мог еще добратся, кто именно из ваших домашних передает эти сведения.

По содержанию моего письма вы догадываетесь, что я очень близок к его светлости. Повторяю, не старайтесь доискиваться меня. Настанет время, сам откроюсь. Знайте только, что я иностранец; но, ущедренный Россиею, я нашел в ней свое второе отечество и хочу служить ей, как истинный сын ее. Мне больно видеть каждый день, что все мысли, все чувства и поступки Бирона вертятся кругом одной его особы, что он живет только для своего лица, а не для славы и блага России. Страна эта потому только не совсем ему чужда, что он считает ее своей оброчницей. Боже! как он трактует русских!.. Чуждаясь их языка и обычаев, не желая их любви и в презрении к ним не соблюдая даже наружного приличия, он властвует над ними, как над рабами».

При этих словах глаза Артемия Петровича налились негодованием; руки его дрожали.

«Наступает важный случай открыть государыне его своекорыстие: дело об удовлетворении поляков за переход войск чрез их владения, дело, на котором вы столь справедливо основываете свои надежды (вот как нам все известно!), скоро представится на рассмотрение кабинета. При первой возможности доставлю вам нужные заметки и тут же напишу три слова: *теперь или никогда!* О! тогда скорей, богатырски опрокиньте стену, пред которою дает он фейерверки и за которою душит и режет народ русский; откройте все сердцу государыни... Вы, с вашею благородною смелостью и красноречием, с вашим патриотизмом, с вашим пламенным усердием к пользе и благу императрицы, одни можете совершить этот подвиг. Если вы падете в этом деле, то падете со славою. Тогда-то я откроюсь вам и разделю с вами участь вашу, какова бы она ни была, клянусь вам в этом своею честью. Когда бы вы знали, как горит душа моя быть участником вашим в этой славе! Может статься, чрез сотню лет напишут, поставив мое имя подле вашего: «Россия гордится ими!..» Жить в истории – как это приятно!..

Пишу много; сердце мое имело нужду излиться пред благороднейшим из людей. Давно я не беседую с ними. Случай первый! Герцог, отдав мне письмо к вам, уехал во дворец, куда был неожиданно позван, только что из него приехавши.

Теперь исполняю желание ваше узнать о малороссиянине. Это дворянин из черниговской провинции, по прозванию Горденко. Он занимал должность хорунжего в стародубовском повете и умел обратить уже на себя неприятное внимание доимочного приказа тем, что противился повелению герцога ставить за недоимки крестьян разутых в снег и обливать их холодною водою. Услышав однажды об оскорбительных словах, сказанных герцогом одному русскому вельможе, он имел неосторожность произнести: «Побачив бы я, як бы мне то выбрехал бесова батька Бирон». Слова эти доведены до ушей его светлости. Малороссиянин потребован к допросу воеводой, приехавшим нарочно для исследования этого преступления. О! когда дела касаются до личной обиды герцога, они скоро решаются. Оговоренный был в это время очень болен. Он принесен пред судью на простынях и, в наказание за свою неосторожность, должен был услышать от воеводы ругательства, которые не хотел вынести от самого Бирона. Когда ж он, собрав силы, отвечал, как требовала оскорбленная честь дворянина, его пощекотали батогами. Этот способ лечить и жажда мщения возвратили ему вскоре здоровье. Он покинул семейство свое, составил прошение к императрице, в котором описывал жестокости временщика и корыстолюбивые связи его с поляками, ездил по Малороссии собирать к этому прошению подписи важных лиц, успел в своем намерении и пробрался до Твери, где удачно обменял собою простого малороссиянина, которого, в числе других, везли сюда на известный праздник. Но ищейные клеветы Бирона уследили его тотчас по прибытии в Петербург. Здесь, в манеже герцогском, когда делали перекличку всем разноплеменным парам, его не оказалось. Подачкин объявил, что он, вероятно, бежал во время суматохи, случившейся в то время, как их вели в манеж. Прибывших гостей к вам отправили. В самом же деле несчастный был задержан. Расправа была с ним короткая: его свели на задний, нечистый дворик за конюшню. Там, раздев до рубашки и привязав к дерезу,

пытали о бумаге, но Горденко успел, видно, сбросить ее или передать. Благородного мученика, окатив десятком ушатов воды, заморозили среди белого дня. Мой приятель Гроснот совершил этот подвиг, как будто выпил стакан пуншу. Впрочем, Липману шепнули, чтоб он спрятал, как знает, концы в воду. Это будет легко ему сделать с помощью силы, грозы и денег.

Ответ герцогу привезите завтра лично, по обыкновению, в приемные часы. Будьте осторожны, не проговоритесь не только словами, но и наружностью. Скрывайте себя до времени, а то все испортите.

В случае нужды во мне для объяснений, вложите вашу записку в расселину среднего камня, на левом углу ограды Летнего сада к Неве».

Прочтя это таинственное послание, в истине которого нельзя было сомневаться, Волынской то предавался радостной мысли, что приобретает новые важные права для обвинения Бирона и освобождения России от ига его, ходил скорыми шагами по комнате, обхватив эту надежду, нянча ее, как любимое дитя свое; то путался в мыслях, отыскивая своего тайного доброжелателя.

Иностранец?.. Их так много окружает курляндского герцога, и ни в одном из них Артемий Петрович не видал особенного к себе участия. Этот?.. Злодей! из одной улыбки его светлости вызовется, вместо меха, своим дыханием разогреть жаровню и изжарить на ней мелким огнем человека, невинного, как младенец. Другой? Глупец! готов стащить на своей спине, не оглядываясь, выюк чужих злодейств. Третий? Подлец! доставляет за фальшивые определения жене Бирона бриллианты и серебряные сервизы. Четвертый? Родственник клеветы его, Липмана, и ненавидит кабинет-министра. И так далее перебрал он всех, и ни на ком не мог остановиться. Каким образом постиг тайный друг желание его узнать, куда девался малороссиянин?.. Загадка! тайна!.. Голова его пылала, сердце ходило ходенем. Он забыл даже о посланном герцога; но, вспомнив и спросив, узнал, что податель, не дожидаясь ответа, скрылся.

Когда же Волынской хотел доискаться, кто бы мог быть шпионом Липмана в его собственном доме, он, казалось, блуждал, как странник в диком бору, где боится на каждом шагу наступить на ядовитого гада. Что б могло заставить дворовых людей идти в его оговорители? Он считался, по-тогдашнему, милостивым господином. О стульях, бессудной помощи палача, кошках, разделках на конюшне, столь обыкновенных в его время, не было помину в доме. Наказания его, и то за важный проступок, ограничивались удалением от барского лица. Челядинцы, от большого до малого, были одеты исправно, накормлены сыто, получали, сверх того, в каждый годовой праздник по медной гривне и по калачу; их заслуги предкам Волынского ценились как должно; старики были в почтении у младших и нередко удостоивались подачек со стола господского; немощных не отсылали с хлеба долой на собственное пропитание, не призирали в богадельнях, а в их семействах. Добрыми нравами строго дорожили. Сам Артемий Петрович хотя славился волокитством, но в ограде дома целомудрие так уважалось, что раз подслеповатый *маршалок*, увидев издали девушку на коленях мужчины, поднял весь дом, как будто на пожар; к счастью, выяснилось, что отец ласкал свою дочь. «Не барин, а отец родной! – говорили служители об Артемии Петровиче, – мы живем за ним, как у Христа за пазушкой». Что ж в самом деле могло бы заставить кого из них решиться на оговоры? Они сочли бы того Иудой-предателем. Не барская ли барыня?.. Чем же она может быть недовольна? Гардероба ее станет и на приданое внучатам; деньги пускает она в рост, ласками господ не менее богата.

Впрочем, ее порядочно коверкало, когда дело шло о малороссиянине... может статься, нетерпение видеть сынка офицером?.. Зуда намекал не раз, что это женщина опасная... Да опять, как проведать ей тайны господские, которые говорят только в кабинете, между самыми близкими друзьями. Зуда?.. Этот мог бы всех скорее!.. При этом слове, мысленно произнесенном, сердце Артемия Петровича облилось кровью. «Нет, – прибавил он, рассуж-

дая сам с собою, то ходя быстрыми шагами по комнате, то садясь на канapé, – сердце отталкивает малейшее на него подозрение. Он лукав, но благороден. Ни денег, ни чести не любит; настоящий Козьма-бессребреник. Из чего ж станет кривить душой и подличать пред фаворитом? Хотел бы он денег? я давно б озолотил его. Чинов? Сколько раз предлагал я вывести его в чины, но он всегда отказывался от них, считая их за тягость. Он слишком любит спокойствие, чтобы затеять доносы. Это не в его характере. Да к тому ж не могу расстаться с мыслию видеть в нем человека, мне преданного. Десять лет в моем доме! Десять лет раскрывал я ему грудь свою, и в ней читал он до последней тайной буквы!.. Друг мой!.. Нет, нет, лучше погубить себя, чем его подозревать! Не он, не он, не может быть! Но... диавол-дух или человек-диавол, кто бы он ни был, мой домашний шпион, я отыщу его!»

Волынской позвал своего араба.

– Николай! – сказал он ему с особенным чувством, – любишь ли ты меня?

– Когда вы говорите мне слово ласковое, – отвечал тронутый араб, – мне кажется, что со мною говорит старик отец, зарезанный в глазах моих. Вы мне вместо отца, и матери, и родины.

– Ты меня никогда не продавал?

– Я, сударь?.. да я готов отдать за вас жизнь свою, Никола свидетель!

– Слушай же: у нас дома есть недобрый человек, который выносит сор из избы, оговаривает своего барина.

– Знаю!

– Знаешь? – спросил изумленный Волынской. – Кто ж это?

Араб приложил палец к толстым губам своим и покачал головой.

– Говори, я тебе приказываю.

– Не могу, мне Зуда не приказал.

Волынской вспыхнул.

– Так ныне Зуда ваш господин, так он более меня значит! Зуда командует моими людьми против меня!.. Вот каков Зуда!.. Скоро сделается он моим барином; скоро мне воли не будет в своем доме!

Араб бросился в ноги к Артемию Петровичу и сказал:

– Не могу! я поклялся Николою!.. Он говорит, что это для вашего же добра...

«Что за тайна?.. – подумал Артемий Петрович. – Посмотрим, к чему это все ведет!»

– Хорошо! – прибавил он вслух, – встань! делай, что приказал тебе Зуда, молчи о том, что я тебе говорил, и всегда, непременно, становись на карауле у дверей моего кабинета, как скоро будут в нем двое. Да вот и Зуда, легок на помине!

В самом деле, араб только что успел встать, как вошел секретарь кабинет-министра. Смущение на лице господина и слуги встретило его; но он сделал вид, что ничего не примечает, скорчил свою обыкновенную гримасу и, съездившись, ожидал вызова Артемия Петровича начать разговор.

– Выдь вон, – сказал Волынской арабу, потом, обратившись к своему секретарю, произнес ласково: – Ну что слышно о малороссиянине?

– Он пойман и содержится в канцелярии полицеймейстера.

– Пойман?

– Да, ваше превосходительство; что ж тут удивительного?

– От кого ты знаешь эту весть?

– Я сам видел его.

– Видел?.. Какое плутовство!

– Позвольте спросить, о чьем плутовстве вы говорите?

– На, прочти лучше сам это длинное послание, упавшее ко мне с неба, и объясни, как мертвые воскресают в наше время, богатое чудесами.

Волынской подал письмо неизвестного, рассказал, как оно принесено, прилег на диван, всматриваясь, какое впечатление сделает на секретаря чтение бумаги, и, когда увидел, что этот развернул ее и начал рассматривать, спросил, не знаком ли ему почерк руки.

Сощурился Зуда, покачал головкой, отвечал твердо:

– Нет, в первый раз вижу, – и начал чтение. В продолжение его он часто пожимал плечами, потирал себе средину лба пальцем; на лице его то выступала радость, как у обезьяны, поймавшей лакомый кусок, то хмурилось оно, как у обезьяны, когда горячие каштаны обжигают ей лапы. Наконец, Зуда опустил руку с письмом и опять уныло покачал головой.

– Что? прочел ли? – спросил Волынской.

– Прочел.

– Что ж ты думаешь после этого?

– То, что вас и еще кое-кого знаю, что победа будет на стороне силы, коварства и счастья. Это я думаю, это я вам всегда говорил и советую, как и всегда, уступить временщику. Да! таки уступить!.. Послушайте, какая слава о нем в народе.

– Любопытен знать.

– *Он такой фаворит, что нельзя об нем и говорить:* как же вы хотите против него действовать?

– Как действовали во все времена против утеснителей своего отечества истинные сыны его; как указывает мне сердце и тайный, но благородный советник!

– Который вас и обстоятельств хорошо не знает, который губит вас и себя, вспомните мое слово. Дайте грозной туче пройти самой. Поберегите себя, друзей, супругу...

– Как? из того, что я могу навлечь на себя немилости, пожалуй – ссылку, казнь, что я могу себя погубить, смотреть мне равнодушно на раны моего отечества; слышать без боли крик русского сердца, раздающийся от края России до другого! Рассказывать ли тебе, как будто ты не знаешь, неистовства, совершающиеся каждый день около нас, не говорю уж о дальних местах? Стоит только раскрыть Петербург. Архипастырь,¹⁷ измученный пытками за веру в истину, которую любит, с которою свыкся еще от детства, оканчивает жизнь в смрадной темнице; иноки, вытщенные из келий и привезенные сюда, чтоб отречься от святого обета, данного богу, и солгать пред ним из угождения немецкому властолюбию; система доносов и шпионства, утонченная до того, что взгляд и движения имеют своих ученых толмачей, сделавшая из каждого дома Тайную канцелярию, из каждого человека – движущийся гроб, где закованы его чувства, его помыслы; расторгнутые узы приязни, родства, до того, что брат видит в брате подслушника, отец боится встретить в сыне оговорителя; народность, каждый день поруганная; Россия Петрова, широкая, державная, могучая – Россия, о боже мой! угнетенная ныне выходцем, – этого ли мало, чтоб стать ходатаем за нее пред престолом ее государыни и хотя бы самой судьбы?

Здесь Артемий Петрович остановился, посмотрев зорко на секретаря. Этот не думал отвечать. Все, что говорил кабинет-министр, была, к несчастью, горькая существенность, но существенность, которую, при настоящих обстоятельствах и с таким пылким, неосторожным характером, каков был Волынского, нельзя было переменить. Зуда пожал только плечами и покачал опять головой.

Две свечи на бюро тускло горели; огромная тень кабинет-министра быстро двигалась по стене. Он продолжал:

– Как? выступая на битву против врагов отечества, вы оробеете, когда вам скажут ваши нежные, заботливые приятели, что вы можете потерять ручку, ножку, что вы, статься может, оставите по себе неутешную вдовушку, плачущих ребят!.. Пускай неприятели топчут жатвы, жгут хижины, насилуют жен и девиц – не ваши поля и дома, не ваша жена и дочь! До них

¹⁷ Тверской, Феофилакт Лопатинский. (Примеч. автора.)

скоро ли еще доберутся! А ты покуда успеешь налегаться на теплой печке, в объятиях своей любезной... Так ли думают истинные патриоты? Так ли я должен мыслить?

– Позвольте...

– Нет, сударь, не слушаю вас, не хочу слушать ваших вялых, своекорыстных советов. Я лучше прочту еще раз, что пишет мой тайный друг. (Волынской взял бумагу, развернул ее и прочел вслух: «Он властвует над русскими, как над рабами».) Слышите ли, сударь, над рабами?... И вот что говорит в благородном негодовании своем иноземец!.. (Это слово залито было такою ирониею, что захватило на миг его дыхание. Покачав головой, он опять с жаром продолжал.) А мы, русские, мы протянули свои воловьши шеи под ярмо недостойного прищельца, мы любимся, как он, вогнав нас в смрадную топь, взбивает нам кровь ремнями, вырезанными из наших спин. Простой народ не выдерживает жестокостей его и бежит целыми селениями в Польшу, в Бессарабию. А русские дворяне, забыв и род свой и заслуги предков, истлев свой стыд, как трут, которым он зажигает свою трубку, лезут, ползают перед конюхом, подходят уже к его ручке! Князья, люди первых фамилий русских, которых отцы стяжали себе славу на ратном поле, рядом с бессмертным Петром, или в сенате, бесстрашно говоря ему правду, спешат наперерыв записаться в скоморохи, в шуты... Не посоветуете ли мне пойти вприсядку для потехи его конюшенной светлости? Не прикажете ли мне приложиться к его ручке?... Нет, сударь, не дожидетесь этого от меня с вашим выходцем: скорей сожру я руку, которую он протянет мне, хотя бы этим поганим куском подавиться!.. Пляшите, господа, под его дудочку, вертитесь кубарем под его кнутик; лобызайте секиру, омытую кровью ваших братьев, деритесь в драку за пригоршни золота и разнокалиберных игрушек, которые бросает он вам из окон своих высоких палат... Мое назначение другое (тут Волынской поднял голову и произнес с особенною твердостью): я русский боярин, не скоморох. Ты сам знаешь, что я друзьям и себе дал слово идти против чужеземного нашествия и предводителя его. В этом я поклялся пред образом спасителя, – мне достался крест по жеребию – я опоясался им, как мечом; я крестоносец, и если изменю клятве своей, наступлю на распятие сына божия!

– Все ли вы сказали? – прервал Зуда Артемия Петровича.

– Все, что должен был сказать и что исполню.

– Позвольте мне в свою очередь сделать вам вопрос один только.

– Будем слушать и отвечать.

– Может быть, не с такою твердостью, как доселе говорили.

– Увидим, увидим! Ну, к делу, господин грозный противник!

– Противник всегда, в чем вижу вашу гибель. Прекрасно, благородно, возвышенно ваше рвение к пользе отечества, кто с этим не согласится? Но при этом подвиге необходимо условие, и весьма важное: собираясь в свой крестовый поход, вы, как твердый рыцарь, должны отложиться от всех пагубных страстей. То ли вы делаете? Ваша благородная дама забыта, и волшебница под именем Мариорицы опутывает вас своими цветочными цепями. Надо избрать одно что-нибудь: или великий, трудный подвиг, или...

– Или волокитство, хочешь ты сказать, – прервал Волынской, несколько смутившись и покраснев. – О! эта шалость, из тысячи подобных, не опасна!.. Ты знаешь, холодный проповедник, что я не в состоянии пристраститься ни к одной женщине. Мариорица мила, прелестна... это правда; но один поцелуй – и страсть промелькнет вместе с ним, как потешный огонек.

– Он сожжет это полуденное растение и отуманит вас, сына севера, крестоносца, западного в броню железную! Что станет тогда с вашею доброй, любезной супругой, которая вас так любит?

– О! она женщина холодная, на эти вещи смотрит очень равнодушно.

– Пока они неопасны! Что станет тогда с вашим предприятием, с вашими друзьями, которых вовлекли в него, с вами самими?..

– Ну, полно, честный иерей Зуда! Твоих проповедей до утра не переслушаешь. Скажи-ка мне лучше, что ты думаешь о домашних моих шпионах?

– То, что главный почти в руках моих.

– Я тебя не понимаю.

– Не могу более объясниться; на днях все узнаете. Но до вашего похода, – прибавил Зуда, вздыхая, – не угодно ли будет запастись орудиями Махиавеля; они вам очень нужны.

– Ты хочешь сказать, лукавством и осторожностью, которых во мне недостает...

– Так же, как в вас слишком много благородства для борьбы с Бироном.

– О, что касается до этого, то я с тобой опять не согласен. Но обратимся к нашему учителю, Махиавелю. Ввернул ли ты в перевод выражение насчет нашего курляндского Боргио?

– Исполнил скрепя сердце, хотя со всею осторожностью, – сказал печально секретарь, как бы давая знать, что это ни к чему не послужит. – Не угодно ли вам будет прослушать последнюю главу?

Волынской дал знак согласия, и скоро принесена огромная тетрадь, прекрасным почерком написанная. Зуда сел и начал читать вслух главу из Махиавелева «Il principe»,¹⁸ которого он, по назначению кабинет-министра, перевел для поднесения государыне. Но едва успел пробежать две-три страницы, прерываемый по временам замечаниями Волынского, присовокупляя к ним свои собственные или делая возражения, как вошел араб и доложил о прибытии Тредьяковского.

– Вели впустить его, – сказал Волынской, приметно обрадованный этим посещением, – Махиавеля и политику в сторону!..

Он вошел...

¹⁸ «О государе» (*ит.*).

Глава VI ПОСРЕДНИК

Пыщутся горы родить, а смешной родится мышонок!
Вступ. к «Телемахиде»

О! по самодовольству, глубоко прорезавшему на лице слово: *педант!* – по этой бандероле, развевающейся на лбу каждого бездарного труженика учености, по бородавке на щеке вы угадали бы сейчас будущего профессора элоквенции, Василия Кирилловича Тредьяковского. Он нес огромный фолиант под мышкою. И тут разгадать не трудно, что он нес, – то, что составляло с ним: *я и он, он и я* Монтаня, свое имя, свою славу, шумящую над вами совиными крыльями, как скоро это имя произносишь, власяницу бездарности, вериги для терпения, орудие насмешки для всех возрастов, для глупца и умного. Одним словом, он нес «Телемахиду», это высокое произведение, которое почти целый век, то есть до появления «Александровиды», не имело ничего себе равного.

– А! дорогой гость, добро пожаловать! – сказал Волынской, кивнув ему и взглянув мельком на чудовищную книгу такими глазами, как бы несли камень задавить его.

Гость отвесил глубокий поклон у двери так, что туловище его с нижнею частию фигуры составляло острый угол, – два шага вперед, другой поклон, еще ниже третий. Лицо его утучнялось радостью; желая говорить, он задышался, вероятно от того ж чувства; наконец, собравшись с силами, произнес высокаторжественным тоном:

– Великий муж! как дань моего глубочайшего высокопочитания пришел я положить к подножию вашему энтузиасмус моего счастья.

– Поведай, поведай, что такое, – сказал с усмешкою хозяин, – но с уговором, чтобы ты сидел. Я буду мечтать, что беседую с Омиром, повествующим мне о прекрасной Елене.

– Помилуйте, я и постою пред лицом вашим.

– Да, боже мой, садись, я тебе приказываю.

Тредьяковский сел и возглагольствовал, помогая словам согласной мимикой.

– Человеческого духа такое, конечно, есть свойство, когда он сильно встревожен, что долго он как будто перстами ощущает, прежде нежели прямо огорстит слова для выражения своих чувств. В таком и я обретаюсь состоянии. Но дух, как Иракий, чего не возможет! Он совершил во мне седьмой подвиг, и я приступаю. Я сей момент из собрания богов, с Олимпа и... и помыслите, ваше превосходительство, вообразите, возмните, какое бы благополучие меня ныне постигло.

– Что ж, ты видел государыню?

– Наслаждался ее божественным лицезрением, но этого не довольно.

– Она говорила с тобою?

– Еще выше и гораздо выше.

– Да не томи же нас!

– Итак, познайте, ваше превосходительство, я призван был в царские чертоги для чтения моего творения... Весь знаменитый двор стекся внимать мне. Не знал я, какую позицию принять, чтобы соблюсти достодолжное благоговение пред богоподобною Анною... рассудил за благо стать на колена... и в такой позитуре прочел почти целую песню... Хвалы оглушали меня... Сама государыня благоволила подняться с своего места, подошла ко мне и от всещедрой своей десницы пожаловала меня всемилостивейшею оплеухою.

Тут Волынской едва не лопнул со смеха; Зуда закусил себе губы.

– Не помыслите, великий господин, чтобы сия оплеуха была тяжка, каковые дают простые смертные своими руками; нет! она была сладостна, легка, пушиста, возбуждала пре-

утаенные душевные пружины в подвижность, как подобает сие произойти от десницы небожителя. Она едва-едва коснулась моей ланиты, и рой блаженства облепил все мое естество. Не памятую, что со мною тогда совершалось, памятую только, что сия оплеуха была нечто между трепанием руки и теплым дуновением шестикрылого серафима. Проникнутое, пронзенное благодарностью сердце бьет кастальским ключом, чтобы воспеть толикое благоденствие, ниспосланное на меня вознесенною превыше всех смертных.

– Поздравляем тебя от чистого сердца, – сказал Волынской. Не зная, как освободиться от энтузиасмуса своего гостя, и между тем боясь оскорбить его крутым переходом к тому предмету, который лежал у него на сердце, он спросил будущего профессора элоквенции, что у него за книга под мышкою.

– А именно эта книжица есть вина предшедшего и вечно незабвенного события. Ее велено... (вы понимаете, кто велел)... показать вам... Я имею довольно свободного времени, чтобы повествовать вашему превосходительству сие происшествие в достодолжном порядке.

– Много чести; зачем беспокоиться!

– Сие беспокойство есть для меня репетиция моего благополучия.

Кабинет-министр внутренне досадовал; но, желая разобрать смысл намека на знаменитую книжицу, потребовал ее к себе и присовокупил, что он между тем будет слушать поэта внимательно, с тем, однако ж, уговором, чтобы он обрадовал его секретною весточкой. Василий Кириллович улыбнулся, показал таинственно на сердце, мигнул глупо-лукаво на Зуду, как бы считая его помехою, и поспешил обратиться к своему любезному предмету.

– Вот, извольте видеть, высокомогущный господин, эта книжица есть...

Тут Василий Кириллович начал говорить и говорил столько о Гомере, Virgилии, Камонсе, о богах и богинях, что утомил терпение простых смертных. Зуда незаметно ускользнул из кабинета; в слух Артемия Петровича ударяли одни звуки без слов – так мысли его были далеки от его собеседника. Перебирая листы «Телемахиды», он нашел закладочку... На ней, в нескольких словах, заключалось для Волынского все высокое, все изящное, о чем оратор напрасно целые полчаса проповедовал; на ней было начертано: *Мариорица; твоя Мариорица – скучно Мариорице!* Слова эти горели в глазах влюбленного Волынского; он видел уж впереди, и очень близко, шифры, переплетенные огнем, пылающие алтари, потаенные беседки, всю фантазмагорию влюбленных. Чего не изъяснил он, не перевел, не дополнил в этих словах! Любовь скорее всякого профессора научит анализу того, что говорит любовь.

«О Мариорица! милая Мариорица! – думал он, – мы и заочно чувствуем одно; нам уже скучно друг без друга. Ты теперь между шутами, принуждена сносить плоскости этих двуногих животных; предо мною такой же шут, которого терплю потому только, что он бывает у тебя, что он с тобою часто говорит, что он приносит от тебя частичку тебя, вещи, на которых покоилась прелестная твоя ручка, слова, которые произносили твои горящие уста, след твоей души».

В то самое время, когда Волынской, влюбчивый, как пылкий юноша, беседовал таким образом с своею страстью, портрет его жены, во всем цвете красоты и счастья, с улыбкою на устах, с венком на голове, бросился ему в глаза и, как бы отделясь от стены, выступил ему навстречу. Совесть заговорила в нем; но надолго ли?.. Взоры его обратились опять на магические слова: *твоя Мариорица*, и весь мир, кроме нее, был забыт.

И вот кабинет-министр, в восторге своего счастья, взглянул на небо, как бы прося исполнить скорей преступные его желания.

– О победа! о венец труда великого! – воскликнул с радостным лицом Василий Кириллович, полагая, что восторженное движение Волынского относилось к одному месту из его поэмы. – Какое же место привело вас в такой энтузиасмус? соблаговолите указать торжествующему родителю на его детище, чтобы он мог сам поласкать его.

Волынской смутился, как бы пойманный в преступлении, поспешил спрятать закладку в карман, бросил взоры наугад в книгу и, настроив свой голос на высокий лад, прочел:

Видят они¹⁹ весь шар земли, как блатную грудку;
Все ж преобширны моря им кажутся водными капли,
Коими грязная кочечка-та по местам окроплена.
Это место превосходно! исполнено силы, великолепия! Я ничего
подобного не знаю.

– Го, го, го, есть места еще лучше. Если позволите прочесть вашему признательному пииту!.. Например, когда Калипса, воспаленная *паренком* любви и ревностью, дает *окрик* на Телемаха и *дядьку* его.

Здесь Василий Кириллович встал и, сам воспалась гневом, замахав руками, вскричал так, что по сердцу собеседника его пробежала дрожь:

Прочь от меня, прочь далее, прочь, вертопрашный детина;
С ним же ты совокупно прочь, старичишка безмозглый:
Ты почувствуешь, мощен колик гнев есть богинин,
Ежели не отвлечешь его ты вскоре отсюда.
Больше видеть его не хочу; и к тому не терплю я,
Чтоб которая из нимф слово спустила
Иль на него чтоб и невозбранно коя смотрела.

Чувствуете ли, ваше превосходительство, какую красоту причиняет слово *прочь*, четырежды повторенное. Это по-нашему называется: фигура усугубления.

«Дух-мучитель!» – подумал Волынской, истерзанный самолюбием сочинителя, и сказал вслух:

– Хорошего понемногу, Василий Кириллович! Дайте мне отдохнуть от красоты одного образцового места, великий муж!

– Ага, ваше превосходительство, вы истинный меценат, вы постигли меня, вы отдаете мне справедливость. Но я поведаю вам анекдотец, как могут ошибаться и великие люди. Теперь, не краснея, смею предъявить его во услышание мира, ибо я на предмет своей знаменитости успокоен. Пускай букашки, цепляясь за былинки, топорщатся на Парнасус; пусть рыбакишка холмогорский в немецкой земле пищит и верещит на *сопельке* свою одишку на взятие Хотина, которую несмысленные ценители выхваляют до небес: моя труба зычит во все концы мира и заглушит ее; песенка потонет в 22 205 стихах моей пиимы! 22 205 вернейшим счетом!.. Нелегко сказать; возмись-ка кто написать!.. Сколько ни обгложут из них мои зоилы, сиречь завистники, все останется мне их довольно для существования в потомстве.

– Скорей к повествованию, Василий Кириллович, и потом жаждущему хоть каплю воды: одно слово о княжне. Когда ты скажешь мне его, я велю принести подарочек...

Глаза будущего профессора элоквенции заблестали огнем. Он рассыпался в благодарности, окрился и повествовал:

– Итак, я поведаю вашему превосходительству вкратце анекдотец о себе и Петре Великом. Извольте ведать, что я обучался элементам наук и древних языков в архангельской школе. Уже в летах младых я обещал в себе изобильные надежды. Единожды, когда соблаговолил посетить наш вертоград блаженные и вечно достойные памяти государь Петр Первый, профессор подвел меня к его императорскому величеству, яко вельми прилежного и

¹⁹ Боги. (Примеч. автора.)

даровитого студента по всем ветвям наук, особенно в риторике и пиитике. Еле четырнадцатилетний паренище, я выучил наизусть главу *об изобретении* со всеми цитатами и эпиграфами, как помилуй мя боже, и сочинил стихословный акростих: «Како подобает чествовати богов земных?» Сей акростих был поднесен его императорскому величеству, и он, воззрев на него, соблаговолил изречь: *«Лучше б написал он мне о рыбной ловле здешнего края!»* Ге, ге, ге, о рыбной ловле: заметьте, ваше превосходительство! Осмелюсь присовокупить, впрочем не утруждая вашего драгоценного внимания: Петр Алексеевич хотя и был государь премудрый, но в риторических извитиях не обращался, греческого и латинского языков не любил. Сожалительно весьма; чего бы он с познанием их не сотворил! Но обращаюсь к существу повествованию. Потом всемилостивейший государь, блаженные и вечно достойные памяти, соблаговолил подойти ко мне, выведенному из ряда прочих школьников, поднял державною дланью волосы на голове моей и, взглянув пристально мне в очи, а скиптроносно ударив по челу моему, произнес: *«О! этот малой труженик: он мастером никогда не будет»*. И я дерзаю днесь изрещи: *Петр был государь великий; но во мне-то и ошибся!* Приникни ныне, о тень божественная, на мою «Телемахиду», на Роллена дважды в двадцати четырех томах, и сознайся пред ними в своей опрометчивости.

Волынской очень смеялся этому анекдоту; но чтобы разделаться с своим мучителем и разом прекратить его повествование о себе, которое могло бы вновь затянуться до бесконечности, если б только вздумалось оратору связать прерванное сказание о всемилостивейшей оплеухе, велел арабу принести обещанную пару. Между тем решительно приступил к Тредьяковскому, чтоб он без дальней благодарности и витийства дал ему весть о молдаванской княжне.

Василий Кириллович рассказал за тайну, что ее сиятельство была очень скучна, узнав, что его превосходительство сделался нездоров, что она расспрашивала, все ли красавицы петербургские ездят ко двору и нет ли какой в городе, ей неизвестной; когда ж Василий Кириллович, как новый Парис, вручил ей золотое яблоко, она казалась очень довольною. Далее спрашивала об играх и затеях святочных, собиралась ныне же, когда месяц станет уклоняться к полуночи, выйти с подругами своими на крыльцо и погадать о суженом; наконец, во время урока, принялась чертить свое имя и еще кое-что... Но, несмотря на старания учителя взять эту записочку, Мариорица никак не согласилась отдать ее, боясь, что она попадет в руки Артемия Петровича. (Мы видели, однако ж, что эта самая записка очутилась в «Телемахиде», между листами, вместо закладки и дошла к кому следовала: так-то хитра любовь женщины! Верьте, что она, когда нужно, проведет не только профессора красноречия, но и поседелого в дипломатии мужа.)

Утешенный Волынской, с новым запасом для своих волшебных замков, выпроводил от себя Тредьяковского, а этот, уложив в свой табачный носовой платок богатую пару платья, ему подаренную, и свою «Телемахиду», отправился с этим сокровищем домой. Вслед за его отбытием пришли доложить кабинет-министру, что какие-то святочные маски просят позволения явиться к нему. Велено пригласить.

Глава VII ПЕРЕРЯЖЕННЫЕ

*Послушай, говорит, коль ты умней
не будешь,
То дерзость не всегда легко тебе
пройдет.
На сей раз бог простит: но берегись
вперед
И знай, с кем шутишь!*

Крылов

*Раз в крещенский вечерок
Девушки гадали;
За ворота бабшмачок,
Сняв с ноги, бросали.*

Жуковский

Еще на лестнице слышались песни, хохот, писк, кваканье, говор на разные голоса. И какая беда с профессором элоквенции! Ему навстречу ватага переряженных. Его оглушили, засвистали, защекотали: от парика его пошла пудра столбом. В этой суматохе он думал не о себе; нет, великий муж мыслил, подобно Камознсу, гибнущему в море, о спасении «Телемахида» и праздничной пары. Жалея о своем детище, которое могло бы пострадать от приступа маскератных героев, он повернул медвежьи стопы назад: его затерли и увлекли. Как огромный гремучий змей, втянулись они в зал, составили польский, сгибаясь в кольца и разгибаясь в бесчисленных изворотах, но не выпуская из своего круга бедного, измученного кропателя стихов. Тут были инка, гранд и донна, испанцы только по женским мантильям, на них накинута, и по перьям на шапочках с бриллиантовыми аграфами. Шлейф донны несли два карла. Сбитенчик с огромным подушечным брюхом давал руку турку, трубочист с знатным ариергардом на спине – великолепной Семирамиде в фишках, чертенок – капуцину. Тут выступал журавль, у которого туловище было из вывороченной шубы калмыцкого меха, шея из рукава, надета на ручку половой щетки, нос из расщепленной надвое лучины, а ноги – просто человеческие, в сапогах. Рядом ревел и медведь: эту роль играл человек в медвежьей шубе, вверх шерстью. Одним словом, тут был полный доморощенный маскерат, какой только младенческое искусство тогдашнего времени могло устроить. В затеях подобного рода наши предки не были изящны; зато они веселились не равнодушно, не жеманно. Один только рыцарь, запаянный с ног до головы в благородный и неблагородный металл, отличался приличием и богатством своей одежды; он один хранил угрюмое молчание. Заметно было по жилистым, полновесным ручкам донны и Семирамиды, что они способны управлять не иглой, а палахом.

Одна из масок остановилась в сенях; ей навстречу – барская барыня.

– Что нового? – спросила первая.

– Цыганка после смотра долго оставалась наедине с барином, – отвечала вторая на ухо переряженному, – допытывайте ее хорошенько... За мной строго присматривают...

Разговаривавшие слышали шум шагов вниз по лестнице и бросились каждый в свою сторону.

Прервавший их тайную беседу был волшебник в высокой островерхой шапке и в долгополой мантии с иероглифами и зодиаками, с длинной тростью в одной руке и урной в другой.

Гости очень веселились, танцевали живо, как молодые, плясали уморительно по-стариковски, приводя в движение подушки, которыми обвязались; закидывали хозяина вопросами на разные чудные голоса, пускали шутихи остроумия и по временам намекали ему о некоторых тайнах его, известных только его друзьям. Это мучило Артемия Петровича; он не выдержал и приказал *маршалку* выведать от кучеров, стоявших у подъезда, кто были переодетые. Кучера сначала отговаривались, но гривна на водку все открыла: они рассказали, что главные маски были гоф-интендант Перокин и тайный советник Щурхов, друзья Волынского, с своими близкими. Узнали еще, что этот маскарад возвращался уже из дворца, где увеселял больную государыню. В самом деле, Артемий Петрович, сличая рост и ухватки своих друзей, уверился, что это точно они, да и карлы были те самые, которых он видал у Перокина и Щурхова. Вельможи эти были не молодых лет, но в тогдашнее, нещекотливое на приличие время старость и знать под веселый час любили подобные затеи в кругу приятельском или по заказу государыни.

Турок потребовал питья у сбитенщика, и этот налил ему из своей баклаги густого токая.

– В чужой монастырь с своим уставом не ходят, – вскричал Артемий Петрович, – стакан вдребезги, – и дан приказ расшевелить все углы домашнего погреба, заветного хранилища богатых заморских вин.

Пир поднялся горой; стопы и чары, постукивая, начали ходить кругом; разлилось море вина, хоть купайся в нем. Инка, турок, Семирамида пили по-русски. Капуцин, осушая стопу, ссылся, что соблазнил его нечистый, а бес приговаривал, что, попав в общество капуцина, поневоле научишься пить. Гости продолжали говорить не своими голосами, изредка обстреливая Бирона и его приверженцев; хозяин, увлекаясь живостью своего характера, не выдерживал и осыпал герцога посланками с убийственной начинкой. Только долговязый рыцарь молчал, как немой, но пил за двоих. Надо оговориться, что Артемий Петрович, дав слово гостям не нарушать их маскарадной тайны, свято исполнил его; гостям же бумажные забрала позволяли, осушая стопы, сохранить свое инкогнито. Между тем Зуда с ужимочками, с улыбочками и приветствиями подходил то к одной, то к другой маске и каждого ощупывал по роду его ответов.

– Ах! – возопил инка, – из столицы солнца, где жгли меня и лучи его и жаровни испанцев, я прибежал прохладиться в Россию.

– Ошиблись, ваше индейское величество! – подхватил Волынской. – Здесь научили жарить на морозе без огня и угольев.

Индеец посмотрел на беса, бес на индейца; а хозяина в это время дернул за полу кафтана волшебник.

– Кой черт его дергает! – вскричал Волынской. – Да, братец, господин волшебник, эта наука не доморощенная, привезена к нам из-за моря нерусским Вельзевулом.

– Нерусским! да из какой же земли? – спросил грозно турок.

– Пасую ответом! – закричал чертенок.

– Из земли выходцев, где главные достоинства – счастье и отвага, – прервал Волынской, – жаль только, что он не наш выходец, и навеки!

– Хват! перещеголял и меня! – восклицал бес, хлопая в ладоши.

– Скажи мне, пожалуйста, братец, – спросил шепотом сбитенщик Артемия Петровича, отведя его в угол залы, – кто это волшебник?

– Да ведь он с вами приехал?

– Нет, он увязался за нами на лестнице! не шпион ли герцога?

– А вот я скоро с ним разделаюсь, сдерну с него фальшивую рожу.

– Постой, два слова...

– Боже! он погубит себя, – шепотом говорил Зуде волшебник, отведя его в сторону, – он, верно, принимает его за друга... Сердце замирает от мысли, что он проговорится... Он

с бешенством на меня посмотрел, грозился на меня, показывал, что сдернет с меня маску... Я погиб тогда. Отведи его, ради бога!

– А меня ты узнал скоро? – спросил сбитенщик хозяина.

– Разом.

– Кто ж я?

– Перокин.

– Плутische!

– В другой раз прячь получше свои толстые жабры, пышные губки и бородавку на ухе, а карлом своим не хвастайся.

– Есть ли новости, брат?

– О, важные! Малороссиянин.

– Ну что? тише...

– И мертв и жив.

– Что за притча! Каким же образом?

– До вас я только что получил...

– Сюда, Артемий Петрович! время не терпит, – вскричал странным голосом Зуда, увлекая за собою упиравшегося волшебника, – плутоват, как Махиагель!

– Махиагель? – повторил Волынской. – Я разом к тебе буду, – прибавил он, обратясь к сбитенщику, и бросился в ту сторону, где Зуда возился с астрологом. Этот от Волынского, далее и далее, и в противный угол залы, где никого не было.

– Вы губите себя, – сказал он Артемию Петровичу, схватя его за руку и легонько пожав ее.

Зуда присовокупил шепотом:

– Слушайте его, а не то беда! – Потом сказал вслух: – Колдун вовсе не пьет.

– Избавьте меня! – умолял жалобным голосом астролог, – зато я предскажу вам будущность вашу. Выньте из урны ваш жребий.

– Посмотрим, посмотрим!

Хозяин опустил в волшебный сосуд руку; между тем чародей протяжно запел непонятные слова, как муэдзин взывает на минарете к молитве.

– Эй, люди, сюда! – закричал Волынской, – держите его! беда колдуну, если он напроочит мне худое: утоплю его в вине.

Человека три ухватились за волшебника; из них и Зуды составила порядочная группа, почти закрывавшая главные лица этой сцены. Молчаливый рыцарь встал с своего места и, не слыша, что они говорили между собою, впился в их душу глазами, сверкающими из-под маски, которую в это время корбило.

Волынской вынул из урны свернутую бумажку и прочел: «Берегитесь! все ваши гости лазутчики Бирона, выучившие роль ваших друзей и приехавшие к вам под именами их. Они хотят втереться к вам в кабинет. Не оскорбляйте рыцаря: это брат герцога».

Рука записки была та же, которою писали длинное таинственное послание.

– Хитрая штука! – вскричал хозяин, стараясь не казаться озабоченным. – Предсказывать, что мне не будет более успеха в волокитстве!.. Качать его за то!.. Эй, качать колдуна! Осторожнее! – прибавил он потихоньку одному из своих слуг, взявшихся за волшебника.

И двадцать молодцов, исполняя свято приказ своего господина, под лад песни бросали гостя вверх, как мячик, и принимали его бережно на руки, будто на пуховики. Между тем Артемий Петрович шепнул под шумок одному из своих слуг, чтобы стерегли вход в кабинет, отослали домой сани приехавших гостей и запрягли три удалых тройки с собственной его конюшни; потом, возвратясь к мнимому Перокину, продолжал начатый с ним разговор.

– Вот видишь, любезный друг, – сказал он, – я только что пред вами получил прошение на имя государыни за подписью какого-то Горденки и еще нескольких важных лиц. В нем

описываются злодеяния Бирона. Но – слышишь? просят вина! Не взыщи. Завтра в восемь часов утра приезжай ко мне с нашими задумевными – я вам расскажу все подробно.

– Зачем откладывать?.. завтра... что-нибудь помешает...

– Нас могут услышать.

– Войдем в кабинет...

– Не могу, право слово!.. Эй! маршалок! бокал сюда! – закричал грозно Волынской, пристав к шумящим гостям, и запел:

Чарочка моя,
Серебряная,
Кому чару пить,
Кому выпивать...

Да какая же чара! – прибавил он, наливая бокал, – не только с хмельком, да и с зельи-
цем...

Выпивать ее
Артемию Петровичу, –

запели два-три голоса с коварною усмешкой.

– А я так думаю – всем гостям моим, – возразил с такою же усмешкой хозяин.

И чара обошла всех гостей, кроме волшебника, успевшего скрыться.

– Эй! скорей еще вина!

Чертенок, воспользовавшись обращением Волынского к своему дворецкому, погрозил
вслед ему пальцем я промолвил:

– Поболе таких вин, как твои, господин хозяин, и ты не увернешься от наших когтей.

На эту шуточную угрозу, Волынским услышанную, он отвечал:

– У нас, по милости хозяина, во всякое время найдется довольно вин, чтобы виноватым
быть. Беда, беда сбитенщику! За ним, я вижу, опять недоимка. Зуда, не отходи от него, пока
не очистит, а то в доимочный приказ, и на мороз босыми ногами.

– Что скажете вы на все это, господин рыцарь? – спросил чертенок молчаливого кре-
стоносца. Рыцарь молча ударил по эфесу меча своего.

– Ошиблись, господин! вы вместо секиры привесили благородный меч, – сказал
Волынской горячась.

– Не миновать тебе и ее! – был ответ рыцаря, как будто вышедший из могилы.

Хозяин вспыхнул, но старался скрыть свое негодование.

– Что-то помалчивает наша Семирамида? – лукаво спросил инка.

– Она горюет, – продолжал Волынской, – что ошиблась в выборе своего рыцаря. Но
добрая Семирамида узнает когда-нибудь свою ошибку – к черту угрюмого конюшего (при
этих словах рыцарь нахохлился), и блаженство польется в ее стране, как льется теперь у нас
вино. Друзья, за здоровье Семирамиды!

– За здоровье Семирамиды! – воскликнули гости, и стопы зазвучали.

– Виват! – возгласил турок.

– Ура! родное ура! – закричал хозяин.

– Виватом у нас в Петербурге встречает войско свою государыню.

– Войску велят немцы-командиры, а нам кто указывает! Ура! многие лета царице! веки
бесконечные ее памяти!

– Слышишь? – сказал чертенок шепотом, толкнув монаха, – память ей вечная!

– Да, да, я слышал, – отвечал капуцин, – слышал, верно, и благородный рыцарь. Мы все свидетели; от этого он не отопрется.

Волынской подошел к своим слугам и приказал, чтобы качали попеременно всех его гостей.

– Бойчее! – прибавил он мимоходом, – разомните им кости!

Этот приказ развязал руки качальщиков. Надо было видеть, как летали турок, чертенки, капуцины и прочие маски.

– Злодеи! разбойники! тише, родные, пощадите! – кричали они, посылаемые сильными руками к потолку.

При этом действии славили гостей под именами Перокина, Щурхова и других, за кого приказано было людям принять их. Едва унеся свое тело и душу из этой потехи, они еще принуждены были щедро наградить *за славление*: так водилось у наших предков. Перокин более всего держался за свои уши, но бородавка на одном из них не уцелела. Волынской притворился, будто этого не заметил. Грозный рыцарь, по просьбе его товарищей, Семирамида, из уважения к ее высокому сану и полу, и Тредьяковский, который уже храпел на стуле в углу комнаты, обняв крепко свою «Телемахиду», одни избавились от торжественного возношения под потолок.

– Умирать! – закричал Волынской, став на средину зала. И вся многочисленная дворня, бывшая в комнате, окружив своего владыку и преклонив голову, пала к нему в ноги, как морские волны, прибитые взмахом ветра к подножию колонны, стоящей посреди пристани. Несколько минут лежали слуги, будто мертвые, не смея пошевелиться; но вдруг, по одному мановению своего господина, встали, затянув ему громкую песню славы. Под лад ее подняли его на руки и осторожно покачали. Когда ж эта русско-феодалская потеха кончилась, Волынской нарядился в богатый кучерской кафтан и предложил своим гостям прокатиться.

Согласились тем охотнее, что замашки хозяина грозили уж опасностью. Каково ж было их изумление и страх, когда они, вместо своих экипажей, нашли у подъезда сани с людьми, им вовсе не знакомыми? Три бойкие тройки, прибранные под масть, храпели и рыли снег от нетерпения.

– Извините, друзья, – сказал Волынской, – ваши сани отосланы. Размещайтесь смелее; я вас покатаю и развезу по домам.

Незваные гости не знали, как вырваться из западни: надобно было согласиться и на это предложение хозяина, который в подобных случаях не любил шуток, и постараться во время катания ускользнуть от него подобру-поздорову. Когда ж почти все маски разместились, продолжая свое инкогнито, Артемий Петрович приказал кучерам на двух санях, при которых на облучках уселись еще по двое дюжих лакея, чтоб они умчали своих седоков на Волково поле и там их оставили.

– Слышите! на Волковом поле сбросить их! – произнес он грозно; потом, обратясь к гостям, прибавил: – Шутка за шутку! прощайте, господа! Теперь смейтесь на мой счет сколько вам угодно! катай!..

Несчастные жалобно возопили, но кучера гаркнули, свистнули, полозья засипели, бубенчики на лошадях залепетали, и в один миг сани, навьюченные жертвами шпионства, исчезли из виду.

– Теперь, – сказал Волынской, садясь кучером в третьи сани, где поместился рыцарь печального образа, довольно нагруженный вином, и обратясь к нему, – позвольте отвезть вашу светлость к Летнему дворцу. Вы уже довольно наказаны страхом и, прибавлю, стыдом, что попали в шайку подлых лазутчиков. Знайте, за час до вашего приезда меня известили о вашем посещении, и потому я приготовился вас встретить. Мои шпионы не хуже герцогских. Вы, думаю, поймете, что шутками насчет вашего брата хотел я только доставить вам и вашим товарищам пищу для доноса. Уверьте, однако ж, его светлость, что как я, так и друзья мои

никогда не потерпим личного оскорбления, даже и от него. Мы спокойны: клевете и зависти не сделать белого черным. Преданность наша государыне всем известна; должного уважения нашего к герцогу мы никогда не нарушали. Но для всякой предосторожности, чтобы не перетолковали в худую сторону моих шуток, ныне ж донесу ему обо всем случившемся в моем доме и об оскорблениях, мне лично сделанных людьми, играющими роль его лазутчиков. Надеюсь, если вы не хотите, чтобы нынешняя история известна была государыне, и вы подтвердите мое донесение. Вот Летний дворец! извольте сойти, целы и невредимы; благодарите за то родству вашему с герцогом курляндским. Покойной ночи, Густав Бирон!

Не отвечая ничего, со стыдом вышел рыцарь из саней и скрылся у входа в жилище герцога. Остававшаяся при нем свита выпрыгнула за ним, как лягушки, распуганные на берегу, опрометью бросаются в свое болото. Не так хорошо кончили свое ночное поприще их приятели. По буквальному тексту данного приказа, они выброшены на Волковом поле, получившем свое знаменитое название от волков, приходивших туда каждую ночь доканчивать тех, которые при своей жизни не были пощажены жестокостью собратий, а по смерти их пренебрежением.

Маски в лунную ночь на кладбище – и еще каком, боже мой! – где трупы не зарывались: инка, Семирамида, капуцин, чертенки, это разнородное собрание, борющееся с мертвецами, которые, казалось им, сжимали их в своих холодных объятиях, хватили когтями, вырастали до неба и преследовали их стопами медвежьими; стая волков, с вытьем отскакивая при появлении неожиданных гостей и ставшая в чутком отдалении, чтобы не потерять добычи, – таков был *дивертисмент*, приготовленный догадливою местью героям, храбрым только на доносы. К довершению их горя, надо было им пройти до своих квартир несколько верст пешком и на морозе.

Торжествующий Волынской, обещаясь быть вперед осторожнее (что он не раз уже обещал), отослал слуг домой и в кучерской одежде поехал шагом мимо Зимнего дворца.

Луна, полная и свежая, как дева, только что достигшая периода своей физической образованности, выказывала на голубом небе округленные, роскошные формы свои: то едва закрывалась сквозной косынкой облачка, то шаловливый ветерок сдергивал ее. Ночь была так светла, что можно было читать. На улицах никого. Тишина и игра лунного света придавали этой ночи какую-то таинственность. По Луговой линии во всех домах огни были погашены; одетые к стороне дворца мраком, здания стали, как угрюмые, исполинские стражи его, и простерли вперед тень свою, будто огромные зазубренные щиты. Один дворец изукрашен был огнями, игравшими сквозь окна, как золотая фольга, и, затопленный светом луны, благоприятно обратившейся к нему лицом, блестел мириадою снежных бриллиантов. Воображая себя витязем наших сказок, катился Волынской по снежному полотну мимо этих волшебных палат, где жила его княжна. Словно духи, его преследовавшие, тени от коней его то равнялись со дворцом, то далеко убегали, ложась поперек Невы.

Раз проехал мнимый ямщик под самыми окнами Мариоричи и мимо маленького дворцового подъезда. Какая досада! никого не видно. В другой, объехав две-три улицы и возвращаясь опять к крыльцу, как бы очарованному для него, он заметил издали мелькнувшие из сеней головы. Ближе – нельзя сомневаться: это головы женские. На лестнице, сошедшей в улицу, хрустел снег под ножками; хрустнуло и сердце у Волынского. Сильною рукою замедляет он шаг коней.

Девушки смеялись, бросали свои башмачки, спрашивали служанку, ходившую поднимать их, в какую сторону легли они носком, резвились между собою, пололи снег и, наконец, увидев мимо ехавшего ямщика, начали спор.

– Спроси ты, – говорила одна.

– Нет, ты! нет, ты! – слышалась перестрелка тоненьких, нежных голосов, – голосов, заставляющих прыгать все струны вашего сердца, особенно когда раздаются в святоч-

ную ночь, в таинственной ее тиши, когда и живописец-месяц очерчивает для вас пригожие личики говорящих.

Наконец, одна осмелилась и спросила мнимого ямщика:

– Как тебя зовут, дружок?

Волынской содрогнулся и невольно остановил лошадей; в этом вопросе он узнал звуки Мариорицына голоса.

– Артемием, сударыня! – отвечал он, скинув шапку.

– Артемий? – повторила, задумавшись, молдаванская княжна, и кровь ее, поднявшись быстро от сердца в лицо, готова была брызнуть из щек.

– Артемий? – закричали, смеясь, девушки. – Какое дурное имя!

– Неправда! оно мне нравится, – подхватила княжна.

– Кто бы это был ваш суженый? – продолжали ее подруги. – Все, кого мы знаем, не пара вам: или дурен, или женат.

«Я знаю моего суженого, моего неизбежного», – думала Мариорица и молчала, пылая от любви и чувства фатализма.

Девушки перешептывались, а лихой ямщик все еще стоял на одном месте; наконец, и он осмелился обратиться к ним с вопросом:

– Смею спросить: вас как зовут?

– Катериной! Дарьей! Надеждой! Марьей! – посыпались ответы.

– Неправда, неправда, – сказал гневно один голосок, – Мариорицей!

И этот голос был покрыт хохотом подруг ее.

Ямщик вздохнул, надел шапку набекрень и тронул шагом лошадей, затянув приятным голосом:

Вдоль по улице метелица метет;
За метелицей и милый друг идет.
«Ты постой, постой, красавица моя!
Еще дай ты насмотреться на себя,
На твою, радость, прекрасну красоту;
Красота твоя с ума меня свела:
Сокрушила добра молодца меня».

Возвратившись домой, Артемий Петрович застал воспитанника Ролленева спокойно спящим на том же стуле, на котором хмель приютил его. Влюбленному пришла мысль воспользоваться для своих замыслов положением стихотворца.

«Пора к делу! – сказал он сам про себя. – Она так неопытна; давно ли из гарема? кровь ее горит еще жаром полудня: надо ковать железо, пока горячо! Светское приличие, которому скоро ее научат, рассудок, долг, одно слово, что я женат... и мои мечты все в прах! Напишу ей записку и перешлю с господином Телемахом: этот молчаливый посланный гораздо вернее. Она найдет ее... будет отвечать, если меня любит... а там тайное свидание, и Мариорица, милая, прелестная Мариорица – моя!»

И Волынской пишет, исполненный адских замыслов, вскруживших ему голову до того, что он не видит ужасной будущности, которую готовит вдруг и своей супруге и девушке, неопытной, как птичка, в первый раз вылетевшая из колыбельного гнезда своего на зов теплого, летнего дыхания.

Вот что он пишет:

«Не выдержу долее!.. Нет, не достанет сил человеческих, чтобы видеть тебя, милая, прекрасная, божественная Мариорица, видеть тебя, любить и молчать. Куда бежать мне с моим сердцем, растерзанным мукою любви?

Почему не могу вырвать его из груди своей, чтобы бросить псам на съедение?.. Мысли мои помутились, горячка пробегает по жилам, уста мои запеклись: одно слово, только одно слово, росинку надежды – и я блажен, как ангелы на небесах! Видишь, я у твоих ног, обнимаю их, целую их след, как невольник, который чтит в тебе и свою владычицу и божество, которому ты свет, жизнь, воздух, все, что для него только дорого на земле и в небе. О милая, бесценная Мариорица! Ужели жестокостью своей захочешь ввергнуть меня в бездну тартара? Ужели хочешь видеть труп мой под окнами твоими?.. Реши мою участь. Положи ответ в ту же книжку, которую к тебе досылаю, и возврати мне ее на имя Тредьяковского завтра поутру, как можно ранее».

Волынской не затруднился сочинить это письмецо: любовь и опытность помогли ему. Не так легко было сочинителю пустить записку в ход. Узел в руках опьяневшего Тредьяковского развязан; но лишь только Артемий Петрович дотронулся до «Телемахиды», как творец ее, по какому-то сочувствию, замычал во сне. Дано ему забыться опять сном, и новый Язон опять принялся за похищение золотого руна. Мычание повторилось, но в то самое время, как Волынской, со всею осторожностью, вытягивал из узла громоздкое творение, араб вкладывал на место его так же осторожно полновесный фолиант. Послышав тяжесть в своих руках, Тредьяковский захрапел.

Подрезана бумага под переплетом «Телемахиды», и письмецо вложено в него так, что, коснувшись нежным пальчиком, сейчас можно было его ощупать. Затем велено арабу ехать во дворец, отдать книгу княжне Мариорице Лелемико от имени ее учителя, Василия Кирилловича, который, дескать, ночует у господина Волынского и приказал-де ей выучить к завтрашнему дню, для произнесения пред государыней, первые десять стихов из этой книги, и приказал-де еще переплет поберечь, книги никому не давать и возвратить ее рано поутру человеку, который за ней придет. Арабу наказано было отдать посылку как можно осторожнее, или в собственные руки княжны, или горничной, однако ж так, чтобы он слышал, что книга отдана княжне. С сердцем, полным страха и надежды, как водится в таких случаях, Волынской отправил своего черномазого Меркурия.

Глава VIII ЗАПАДНЯ

*Кого кто лучше проведет,
И кто хитрей кого обманет?*

Крылов

С сырыми от снега башмаками возвратились гоф-девицы домой из своего путешествия в волшебный мир гаданья. По каменным истертым ступеням дворцовой лестницы прядали они, как серны. Все собрались в комнате Мариорицы.

– Наши русские барышни свычны со снегом, – сказала княжне ее горничная, уговаривая переменить обувь, – им ничего! а вы у нас прилетная птичка из теплых краев.

– И я хочу быть русской! – отвечала Мариорица; однако ж послушалась, чувствуя, что ноги ее были очень мокры.

Усадили княжну в огромные президентские кресла, которых древность и истертый бархат черного порыжелого цвета еще резче выказывали это юное, прелестное творение, раздуманное морозом, в блестящей одежде, полураспахнувшейся как бы для того, чтобы обличить стройность и негу ее форм. Это был розовый лист, павший на рясу чернеца, лебедь, покоящийся в темной осоке. Окруженная подругами, которые смотрели на нее, как бы желали себе: одна – ее мягких волос, свивавшихся черными лентами около шеи и до пояса, другая – ее румянца, третья – ее стана, плеч и бог знает чего еще; замечая в их глазах невольную дань ее превосходству и видя это превосходство в зеркале, осыпанная нежными заботами служанки, стоявшей на коленях у ног ее, Мариорица казалась какою-то восточною царицей, окруженною своими подданными. Горничная проворно скинула с нее обувь, брала то одну, то другую ногу в руки, грела их своим дыханием, потом на груди своей; согревши, положила одну ножку на ладонь к себе, любовалась ею, показала ее в каком-то восторге подругам княжны, как бы говоря: «Я такой еще не видывала! вы видали ли?» – и, поцеловав, спешила обуть. Мариорице, раскинувшейся на бархате кресел, которые, казалось, бережно отверзали ей свои древние ручки, как старец осторожно принимает в иссохшие объятия милое дитя свое, – Мариорице приятны были искренние ласки горничной. Однако ж она вздохнула. Кто из мужчин, выдавших ее, не желал бы быть предметом и живым истолкователем этого вздоха?

И вот фатализм опять взвился над нею, как хищный орел, чтобы вырвать и эту сокровенную жертву. Кто-то постучался у дверей. Служанка вышла и скоро возвратилась с огромною книжицей и поручением от господина Тредьяковского, переданным вполнину.

– Ох! уж этот мне Василий Кириллович! – сказала княжна, топнув слегка ногой и с досады надув губки. – Легко ли?.. выучить наизусть эти стихи, в которых вязнет язык, будто едешь на ленивом осле по грязным улицам Хотина!.. Выучить наизусть! Мучитель! безбожник!

– Велено еще доложить вам, сударыня, – примолвила торопясь служанка, будто стараясь рассказать выученный урок, – что ваш учитель, дескать, остался опочивать у егирей-мастера Артемия Петровича Волынского, просит вас переплет книжицы побережь, ее самое никому не давать, а возвратить человеку, который от него прислан будет завтра поутру, как можно ранее, потому-де, что книжица эта ему очень нужна.

При этом докладе мысль, что в посылке скрывается что-нибудь таинственное, пробежала, как огненная змейка, в голове сметливой и – нечего греха таить – влюбленной девушки. Угадчик-сердце шибко застучало, Мариорица призадумалась было, как математик над реше-

нием трудной задачи, но поспешила спрятать в душу свои догадки, раскрыла книгу с важностью президента и принялась за урок, читая его вслух. От первых стихов:

В крайней тоске завсегда уже пребывала Калипса...
и прочее, —

гоф-девицы были в восторге.

— Как это хорошо! так и тянет за душу, — говорили они; но вдруг захохотали, смотря лукаво друг на друга, когда дошли до описания кораблекрушения:

Се вдруг узрела она корабля разбитого доски,
Лавки гребески почти на дщицы переломаны, весла
Также туда и сюда по песку разметаны, купно
Щеглу,²⁰ кормило одно и верви при бреге пловущи...

— Не мешайте мне учиться, — сказала Мариорица, приняв гневный вид, и подруги ее, смеясь, высыпали из комнаты.

С робостью осмотрелась кругом Мариорица. В комнате, кроме ее, никого. Она начала трудиться над книгой, перелистывать ее, шарить в ней...

Могла ли она думать, что в перегородке, отделявшей ее спальню от комнаты Груни, ее горничной, была умышленно проверчена щель? Могла ли подозревать, что этой горничной насторожено приказано обер-гофкомиссаром Липманом неусыпно приглядывать за ее поступками? Не будет ли наказов, посылок, записок — и именно из дому Волынского?.. Боже упаси Груню утаить что-нибудь! Домашний лазутчик кабинет-министра уж дал знать герцогу, чрез кого следовало, о склонности Артемия Петровича, проскочившей наружу в разговорах его с Тредьяковским и Зудю. О! этот случай золотой, чтобы очернить соперника и врага в глазах государыни, строгой насчет нравственности, или запутать его в собственных сетях так, чтобы он не мог уж вредить фавориту.

Горничная искренно любила свою госпожу, и нельзя было не любить ее. Обворожительная своею красотой и детскою добротою сердца, Мариорица казалась существом, похищенным из двух раев — магометова и христианского. Груне гораздо было бы приятнее повести любовное дело, в котором она могла бы показать все свое мастерство и усердие, нежели шпионить против нее, но выступить из повеления Липмана, обер-гофкомиссара, любимца Биронова и крестника государынина, можно было только положила голову в петлю.

Родом жид, он остался жидом, хотя по наружности обновил себя водою и духом. Вывезенный герцогом, наг и нищ, из Курляндии и им обогащенный в России, он готов был, по одному только намеку его, оклеветать, пытать, удавить и утопить кого бы ни попало. И потому Груня покорилась необходимости. Творя крестные знамения и читая молитвы, она исполняла приказ грозного перекрещенца.

Случалось ли вам играть в отгадку под музыку или стук какой-нибудь вещицы? Так Мариорица искала чего-то в книге Тредьяковского под маятником своего сердца. То билось оно тихо, то шибче и вдруг затрепетало, как голубь в руках охотника; кровь пошла скоро, скоро, будто колеса в часах, когда порвалась цепочка: Мариорица ощупала роковую записку. Вынуть, прочесть ее, упиваться страстными выражениями, отметить малейшие оттенки любви, слить эти оттенки в одну радугу надежды, погоревать, даже поплакать, что бедный ее Артемий Петрович так страдает от любви; наконец, поцеловать раз, еще раз, нежно, страстно роковое послание и потом спрятать его на груди, у сердца, — вот что делала Мариорица и что

²⁰ Машта: NB. Толкование г. Тредьяковского. В стихах соблюдено его право— или кривописание. (Примеч. автора.)

делает каждая влюбленная девушка, получив записку от предмета своей любви (пожалуй, если угодно, от жениха)!

Несмотря на эту оговорку, предчувствую, что грозное ополчение девушек поднимется на меня войной, копиями своих булавок исковыряет эту печатную страницу и везде встретит меня криком: «Неправда! неправда! Стыд автору! Смерть политическая его сочинению!»

Виноват, виноват: я пошутил; и если вы находите, что Мариорица сделала очень дурно, приняв послание, то вспомните, что она воспитывалась в гареме.

«И он стоит у ног моих, как стояла Груня, обнимает, целует их! О, какой же он нежный, страстный!..» – говорила про себя Мариорица и, спрятав записочку под подушку, объявила горничной, что она хочет лечь спать.

Замечают испытатели природы, что такого рода записки обыкновенно клонят на подушку.

И милая восемнадцатилетняя княжна, сбросив с себя всю тягость одежд, еще раз посмотрела в зеркало, как бы хотела сказать: «Да, я таки недурна!..» – вспрыгнула, как проворная кошечка, на пуховик, еще раз поцеловала записку, обещаясь завтра поутру отвечать на нее, – а то, пожалуй, немудрено и убиться бедненькому! – положила ее под изголовье и, наконец, заснула, сладко-мучительно заснула.

Груня видела все. Стало ей жаль барышни, и она решилась было не исполнить приказ Липмана; но мысль о заводах, куда сошлют ее и где отдадут за какого-нибудь горбатого, кривого кузнеца, придала ей жестокой твердости. Она сотворила крестное знамение, как бы умывая себе руки в невольном преступлении, прочла молитву, подошла на цыпочках к постели барышни, не смея перевести дыхание от страха, что делает худое дело, и от страха, что Мариорица того и гляди может проснуться.

Как беззаботно раскидалось прелестное дитя! Щеки ее горели, райская улыбка перепархивала по устам. Вот рука горничной под подушкой... Мариорица вздохнула... и Груне показалось, что рука у ней отнялась... «Открой она теперь глаза, – думала невольная сообщница шпионства, – меня, как громом, пришибет». Но рука уж под изголовьем... мысль о заводах, как сильный проводник, дала ей движение... записка схвачена... рука на свободе.

Груня залилась горячими слезами; плакать, однако ж, было некогда: она обтерла слезы, вышла на цыпочках из отделения своей госпожи и явилась в ближнем коридоре. Тут чрез камер-лакея подозвала к себе одного из дежурных пажей: отдав ему роковую записку, сказала, как она досталась, и чтобы он вручил ее герцогу, когда тот будет проходить от государыни, и доложил бы ему, что бумажку нужно назад. На такие случаи, в тогдашнее время, пажи были наметаны. Горничная стала на часах у своего отделения, а проворный паж нырнул в извиликах дворцовых коридоров, слабо освещенных.

Герцог недолго заставил себя дожидаться. В дежурной комнате два пажа, увидев в замочную скважину, что он приближается, в одно мгновение ока растворили перед ним обе половины двери, важно вытянулись и в пояс ему поклонились. Герцог ласково кивнул им, вынул кошелек и, оделя их по горсти мелкого серебра, примолвил:

– Заправна, плутишка! люблю молодца! вот вам на сладка!

Пажи поцеловали у него руку; один же из них, делая это, всунул в нее потихоньку известную записку.

– Твоя, помолодше, проводит моя! – сказал Бирон, махнув ему рукой.

В одной из ближайших комнат герцог остановился и спросил своего провожатого, погладив его по голове:

– От кого?

– Из отделения молдаванской княжны, – отвечал быстро паж, – записка принесена из дома Волынского, в книге русского учителя; горничная ждет назад.

Бирон говорил плохо по-русски, но понимал лучше, нежели показывал. Он прочел записку, и радость до того им овладела, что руки у него затряслись. «Развращать во дворце... любимицу государыни?... Этого довольно, чтобы сгубить соперника!.. Но Бирон ли раскроет и пресечет эту связь в самом начале?... Нет, он не так прост. Ему нужно продлить ее, усилить даже собственною помощью, запутать молодца и... тогда? Что будет тогда, увидим». Теперь же вынул он свою записную книжку и велел пажу на одном из листков ее списать роковое послание. Когда ж это было исполнено, он сличил подлинник со списком и сказал своему маленькому секретарю тем же исковерканным языком, которого дали мы образчик, но который не станем более употреблять, избегая затруднения в разговорах:

– Какой прекрасный почерк! Золотая ручка! да где ты этому мастерству учился?

– У камер-лакея Исполатова, – отвечал торжествующий паж с самодовольным видом.

– Виват, Исполатов! Только, вот видишь, дружок, надо быть аккуратным во всех делах (при этом слове паж, видимо, опечалился: он думал, что исполнил свое дело, как искуснейший министр). Впрочем, это безделица; я говорю для переды. Заметь своей рукой в моей книжке месяц, число и год получения письмеца; а как я вижу, у тебя нет часов, то я дарю тебе свои. (Разумеется, пажик поцеловал опять у Бирона руку за подарок и исполнил приказ его с быстротою стенографа.) Вперед я поручаю тебе всякий день справляться о новостях в отделении молдаванской княжны. Это плутни, мой миленький! негодные вещи, которых не любит государыня! Разврат не должен быть терпим. Мы должны показывать пример. Не учись этому, когда вырастешь.

(Не учись!.. Лукавец!.. А сам развращал дитя ремеслом шпионства и страстными выражениями, которые заставлял списывать.)

Когда этот урок кончился, Бирон отправил пажа к горничной с строгим наказом держать язык за зубами, а уши на макушке. Награды не посылалось: наградой можно б избаловать служанку – на нее должен был действовать один страх и гроза.

Горничная тряслась у дверей своих, будто прохваченная насквозь сырым, сквозным ветром. Взяв от пажа роковое послание, она с этой тяжелой ношей вошла в спальню своей барышни и тихо, украдкой положила записку под подушку.

«Бедная! как сладко спишь ты! – подумала служанка. – Может статься, видишь своего полубовника во сне и не ведаешь, что против тебя замышляют. И я, окаянная, попала к тебе на этот раз! Что ж? кабы не я, сделала бы это другая».

И с этими мыслями пошла Груня спать на свое жесткое ложе, молилась, плакала, но не могла заснуть до зари. Поутру рано, пока барышня ее спала, отослала она книгу к Тредьяковскому, решившись сказать, что за нею присылали. Ведь наказано было как можно ранее возвратить ее. А то, неравно, бедная княжна вздумает отвечать на письмецо; ответ перехватят, и опять новое горе, новые заботы!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.